

КОЛЛЕКЦИЯ / текст



Борис Носик



ТОТ ВЕК СЕРЕБРЯНЫЙ,
ТЕ ЖЕНЩИНЫ СТАЛЬНЫЕ...

Борис Михайлович Носик

Тот век серебряный, те женщины стальные...

Текст предоставлен автором
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6055504
Борис Носик. Тот век серебряный, те женщины стальные...: Текст; Москва; 2013
ISBN 978-5-7516-1119-4

Аннотация

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья... А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги – Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилию Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву... Они были творцы и музы и героини...

Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово – стальные. Так может, они и впрямь были такими, эти блистательные предвестницы стального века?

Содержание

Глава I	4
Аполлиария	8
Анюта и Сонечка	12
Глава II	27
Людмила	27
Нина-Рената	31
Надя и Аделина	37
Зинаида	42
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Борис Носик

Тот век серебряный, те женщины стальные...

Глава I «Январский день»

Январский день. На берегу Невы
Несется ветер, разрушеньем вея.
Где Олечка Судейкина, увы!
Ахматова, Паллада, Саломея?
Все, кто блистал в тринадцатом году, —
Лишь призраки на петербургском льду.

Эти стихи Иванова впервые я услышал от поэта Лени Латынина лет сорок тому назад. Мы стояли на набережной над залитым солнцем коктебельским пляжем. Дочитав, Леня замолчал, и мы, как ни странно, испытали ту же ностальгию, что переживал бедный Георгий Иванов на курортном берегу Средиземного моря. А между тем близился час обеда, и мне надо было искать моего худенького Антошу, а Лене – его лохматую, рыжеволосую Юлечку.

В общем, нам надо было спешить за детьми, но мы с Леной никуда не шли, стояли, читали на память стихи и вспоминали о загадочных «женщинах серебряного века», которых мы сроду не видели... Еще можно было здесь, впрочем, навестить старенькую Марью Степановну Волошину, послушать ее невнятное бурчание, но она ведь и в молодости не была ни Саломеей, ни Палладой, ни даже Олечкой Судейкиной...

В тот год Леня еще был здоровенным бугаем в расцвете сил, да я и сам мог сойти за дочерна загорелого восточного красавца... Коктебельский пляж сверкал внизу прелестью женских и детских лиц, жизнь еще не грозила нам «тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен». А вот поди ж ты, как разволновали нас тогда эти шесть строк эмигранта Георгия Иванова.

Мы оба со значеньем взглянули на башню волошинского дома. Там они все бывали – и Аморя, и Майя, и Черубина, и Марина, и Аделаида, а может, и Саломея с ненасытной Палладой бывали тоже... Они уже все вошли в легенду, эти женщины серебряного века, да и сам этот век прочно вошел в легенду...

Откуда оно, кстати, пришло это не слишком старинное (и, как отметил один знаток, не лишенное жеманства) название, когда было пущено в обиход любителями искусств и поэзии?

Можно догадаться, что «металлическое» это, скорее даже ювелирно-антикварное его звучание родилось по аналогии с «золотым», пушкинским веком, в котором на скудную ниву родной нашей словесности впервые пролился столь щедрый и благотворный ливень поэзии. Вошло на поэтическом горизонте солнце Пушкина в окруженье других, более скромных светил, вослед ослепительным метеором пронесся чудный Лермонтов, да и вообще стало о чем говорить грамотному читателю, что читать. В короткий срок рождены были русская поэзия, проза, драматургия, эссеистика. Подобно ее французской, английской и немецкой предшественницам и наставницам, русская поэзия вдохновлялась прежде всего любовью. К Богу, к природе, к земле, к женщине. Женщины, кстати, и потребительницами-читательницами-

цами стали едва ли не самыми главными. Понятное дело, читали они не только по-русски (еще долгое время бродили по дорожкам усадебных парков или Летнего сада «с французской книжкой в руках»), но теперь уж и по-русски тоже, все больше и больше.

Знаменитые строки поэзии и прозы донесли до нас образы этих читающих девочек и женщин. Вот пушкинская (она же «онегинская») Татьяна, которой «рано нравились» и все на свете заменяли романы, – чудное ее имя давно перешагнуло рубежи русской речи. Милые русские женщины золотого века в огромном своем большинстве выдержали испытание на нежность и верность.

Когда их мужья, возжелавшие призрачной свободы или какой ни то конституции, были закованы в кандалы и загнаны на каторгу, эти прекрасные утонченные женщины, отрехнувшись от роскоши своих городских и сельских дворцов, добровольно ушли за мужьями в Сибирь. Их подвиг был воспет русской поэзией грядущих поколений, историей этого подвига до последних дней жизни бредил мой московский друг режиссер Владимир Мотыль, поставивший о нем фильм. Любимой русской героиней Мотыля была жена декабриста Анненкова (по крови она была, кстати, чистой французенкой, но кто из приличных людей возьмется мерить русскость составом крови?)

Люди трезвые уточнят, конечно, что не все женщины золотого века были способны на подвиг столь высокой верности. Соглашусь, что я и сам не очень представляю себе, как ринулась бы легендарная Анна Петровна Керн вслед господину Керну (попади он в такую беду) со всей оравой своих любовников. А ведь и она вошла в пантеон золотого века с этими «чудным мгновеньем» и «мимолетным виденьем» неукротимого женолюбца Пушкина (заметьте, впрочем, что «гений чистой красоты» пришлось ему, для вящей чистоты, все же позаимствовать у своего учителя Жуковского, воспевшего в этих словах прусскую принцессу Шарлотту). А все же вошла в школьные святцы и эта обольстительная дама, оказавшись в нужный момент в нужном месте и вдохновив поэта на бессмертные строки.

Таковыми же музами-эгериями для целой вереницы блестящих русских поэтов суждено было стать и далеко не безгрешным красавицам серебряного века, о которых пойдет рассказ в этой книге. Причем иные из них не только оказались вдохновительницами, но и сами были замечательными творцами... Не забудем однако, что между этими эгериями и женщинами золотого века пролегло добрых полстолетия, отмеченного многими переменами и увидевшего новых героинь – и былых «нигилисток», и отчаянных террористок...

Если о золотом веке русской поэзии принято было говорить и писать в России уже и в середине XIX века, то о некоем серебряном заговорили лишь с двадцатых годов XX века.

В те же примерно годы о серебряном веке написал критик Иванов-Разумник, а Марина Цветаева упоминала о «детях серебряного века». Там же, в парижской эмиграции, употребляли этот термин поэт Николай Оцуп и критик Владимир Вейдле. Что же касается бывшего редактора журнала «Аполлон» Сергея Маковского, то он подготовил объемистую книгу мемуарных очерков «На Парнасе “Серебряного века”».

В распространении этого термина немалую роль сыграла ахматовская «Поэма без героя», где есть такие строки:

...серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стоит.

Мало-помалу выяснилось, что начало XX века отмечено было не только всеобщим и всяческим упадком, или декадансом (что мы усвоили еще со школы), но также и «русским ренессансом, культурным, духовным, мистическим, художественным» (так, во всяком случае, утверждал вполне авторитетный Николай Бердяев). Хотя и он не мог не признать, что

упомянутый нами выше упадок все же, что ни говори, имел место. Отчетливей этим упадком были отмечены сами жизни наших героев, чем их творчество.

Прославленный этот век, по мнению исследователей, длился не слишком долго, меньше полстолетия, точнее, с 90-х годов XIX века до мрачного 1921-го, когда расстреляли Гумилева и умер Блок, по признанию которого дышать в России больше было нечем, самый воздух был выкачан насильем...

Впрочем, иные из творцов и многие из красавиц серебряного века ухитрились выжить (уехав в эмиграцию), некоторые продолжали даже писать, а иные (скажем, Георгий Иванов) свои лучшие вещи написали много лет спустя. До самых восьмидесятых годов минувшего века дожили и некоторые из бывших красавиц века серебряного. Автору этой книги даже довелось встречаться с ними в Париже, о чем он, конечно, не умолчит.

Что же до вышеупомянутого падения нравов, то оно было неизбежно в приближение конца эпохи, в преддверье краха и перемен: такое уже видели, а люди наблюдательные и описывали – не обязательно историки, но и просто люди образованные, в том числе писатели. Вот как писал, к примеру, Г.К. Честертон:

Античный мир захлебнулся в утонченном разврате, во всех видах порока, возведенных в обычное и ставших повседневностью. Чтобы сохраниться, человечество должно было само на себя наложить епитимью, уйти в пещеры, объявить греховой самую плоть.

Любой школьник догадается, что пришло Средневековье...

Что же до мировой катастрофы начала XX века, «утонченный разврат» серебряного века ей сопутствовал и никуда не делся ни в пору кровавой борьбы за власть, ни в пору нового, надолго утвердившегося ханжеского насилия. Недаром одна из самых знаменитых женщин серебряного века, прославившаяся «законодательницей новой морали» и преуспевшая в реализации «великого эксперимента» насильников, так подытоживала опыты большевистской «сексуальной революции» в убогом быту России, дотла разоренной ее, законодательницы, соратниками (и любовниками):

В самом деле, какие только формы брачного и любовного общения не примеряет к себе современное человечество, а однако сексуальный кризис от этого ни на йоту не смягчается. Такой пестроты брачных отношений еще не знавала история: неразрывный брак с устойчивой семьей и рядом переходящая свободная связь, тайный адюльтер в браке и откровенное сожительство девушки с ее возлюбленным – «дикий брак», брак парный и брак втроем и даже сложная форма брака вчетвером. Можно лишь удивляться, как удается человеку, сохранившему в душе веру в незыблемость моральных авторитетов, разобраться в этих противоречиях и лавировать среди всех этих взаимно исключаящих друг друга несовместимых моральных предписаний.

После ознакомления с этой простенькой констатацией пореволюционной моральной разрухи смогу удивить вас, назвав ее автора. Это лихая комиссарша и разведчица, все на свете испытывавшая и всех «подельников» пережившая, писательница, описательница совокупления и «любовей пчел трудовых», прославленная «валькирия революции», вдова матроса Дыбенко и многих прочих бедная вдова Александра Коллонтай. О ней писать скучно, но и забывать о ней не след...

Конечно, с той поры, когда мирно угасла в генеральском доме милая Татьяна Ларина, до той, когда во всю ширь развернулась лихая глотательница «стаканов воды», большевистская буревестница и разведчица Шурочка Коллонтай, много воды утекло в Неве и Москве-реке. Всю эту долгую пору зрели и хорошели в тиши барских усадеб новые мечтательные

барышни, росли, набирались идей в благородных книжках и долгих застольных спорах, а, набравшись, бросались очертя голову в омут больших городов, и, понятное дело, непохожи уже были по своим манерам бурные «достоевские» женщины на милых нашему сердцу «онегинских». Таких, «достоевских», и самому даровитому страдальцу-творцу из головы было не выдумать (шутка ли чтоб пачки ассигнаций в огонь бросать, да такого, небось, и среди градоначальницких, лихого нашего времени жен не увидишь). Нет, уже наверняка встречались такие причудницы великому автору на жизненном пути. Позволю себе привести небольшую парижскую картинку и краткий очерк женской жизни из конца того самого (уже позапрошлого) века...

Аполлинария

В начале шестидесятых годов XIX века в небольшой гостинице на праздничной и широкой университетской улице Суфло, что соединяет бульвар Сен-Мишель с площадью Пантеон, жила молодая, красивая русская дама, носившая звучное имя Аполлинария (для близких – Полина, Поля).

Вечером в среду 27 августа 1863 года какой-то мужчина средних лет объявился в этой гостинице и, когда Аполлинария вышла к нему, дрожащим голосом с ней поздоровался. Мы знаем все эти подробности из ее дневника, которому и предоставим слово.

– Я думала, что ты не приедешь, – сказала я, – потому что написала тебе письмо.

– Какое письмо?

– Чтобы не приезжал.

– Отчего?

– Оттого что поздно.

Он опустил голову.

– Я должен все знать, пойдем куда-нибудь, и скажи мне, или я умру.

Она предложила поехать к нему в гостиницу для объяснений. Дорогой он отчаянно торопил кучера.

Когда мы вошли в его комнату, – продолжает она в своем дневнике, – он упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал: «Я потерял тебя, я это знал!» Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек. «Может быть, он красавец, молод, говорун. Но никогда ты не найдешь другого сердца, как мое... Это должно было случиться, что ты полюбишь другого. Я это знал. Ведь ты по ошибке полюбила меня, потому что у тебя сердце широкое, ты ждала до 23 лет, ты единственная женщина, которая не требует никаких обязанностей...»

Может, многие читатели догадались уже по этому пересказу героини, что человека, говорившего так, звали Федор Михайлович Достоевский, а неверную его возлюбленную – Аполлинария Сулова. Сложные, мучительные отношения между этими двумя людьми, а также отношения между ними, с одной стороны, и героями и героинями всемирно прославленных романов Достоевского, с другой, представляют собой тайну, над разгадкой которой уже столетие бьются биографы, литературоведы, психологи и психоаналитики (и не напрасно, ведь речь в конечном счете идет о героях и героинях «Игрока», «Идиота», «Братьев Карамазовых», «Подростка», «Бесов» – есть о чем поспорить). Иные считают, что это даже специфически русская тайна. Так или иначе, можно согласиться, что тайна эта посложнее самых запутанных тайн Лубянки.

В 1861 году в журнале Достоевского «Время» печатался ранний, и слабый довольно, рассказ Суловой. Может, тогда и начался их роман с Достоевским. А может, и еще раньше. Аполлинарии был 21 год, Достоевскому минуло 40 лет, был он редактор, видный писатель и героический мученик, который вернулся с каторги. Она полюбила его и к весне 1863-го, вероятно, продолжала еще любить, но в «отношениях» их присутствовало нечто такое, что ее оскорбляло или мучило. Было в них некое оскорбительное для нее сладострастие и мучительство (а может, и самоистязание тоже), без которого Достоевский, похоже, и не мыслил себе любви. В дневнике своем и в более поздних письмах она не уставала винить его в том, что он, в чем-то обманув ее девичье доверие, раскрыл некую бездну, разбудил в ней, такой юной, темную силу мстительности. Это тайна. Мало мы знаем об этом – оста-

ется только гадать. На подмогу могут прийти исповеди героев Достоевского (скажем, героя «Записок из подполья») – над ними и ворожат уже больше столетия умные люди. Нам же ясно одно: к весне 1863-го молодой женщине стало невыносимо в Петербурге и она уехала одна в Париж. Достоевский должен был приехать летом, чтобы отправиться вместе с нею в Италию. Но незадолго до его приезда Аполлинаруия влюбилась без памяти в молодого студента-испанца до имени Сальвадор. Кажется, он был студент-медик. Узнав о приезде Достоевского в Париж, Аполлинаруия написала ему в гостиницу:

Ты едешь немножко поздно... Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку: все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце, – я его отдала в неделю по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят... ты меня не знал, да и я себя не знала. Прощай, милый!

Мне хотелось тебя видеть, но к чему это поведет? Мне очень хотелось говорить с тобой о России.

Едва отослав письмо, Аполлинаруия начинает уже сожалеть, что из жизни ее уйдет нечто важное (например, разговоры о России, а может, и муки тоже уйдут), она тут же записывает о Достоевском в дневнике: «В эту минуту мне очень грустно. Какой он великодушный, благородный! Какой ум! Какое сердце!»

Впрочем, радости молодой любви делают эту ее грусть недолговечной.

...В воскресенье, всего за три дня до приезда Достоевского, ее возлюбленный Сальвадор вдруг заговорил о том, что он, возможно, уедет из Парижа. Они договорились встретиться во вторник. Во вторник испанца не было дома. Он не появился и в среду и не ответил на записку. Не появился и на следующий день. Потом Аполлинаруия получила от его товарища письмо, сообщавшее, что у Сальвадора тиф, что он опасно болен, что с ним нельзя видеться. Аполлинаруия была в отчаянии, обсуждала с Достоевским опасность, грозящую жизни Сальвадора, а в субботу пошла прогуляться близ Сорбонны и встретила веселого Сальвадора в компании друзей. Он был здоровехонек. Ей все стало ясно...

Ночь она провела в слезах, в мыслях о мщении и о самоубийстве, потом позвала Достоевского. Еще при первой парижской встрече он предложил ей уехать с ним в Италию, оставаясь ей при этом как брат. Он обещал ей быть бескорыстным утешителем. Они покинули Париж и двинулись вместе в Италию. Надо ли говорить о том, что он не удержался на высоте «братских» отношений. Иные из исследователей Достоевского (скажем, профессор А. Долинин) упрекают писателя в том, что он не выдержал, не остался до конца великодушным, толкнул бедную женщину дальше – «в тину засасывающей пошлости», пробудил в ее душе новое омерзение к себе и даже мысли о самоубийстве. Но не будь этого, не было бы и кающихся героев, не было бы и Достоевского. Тот же Долинин замечает, что «герой подполья, чтобы тем сильнее казнить себя, выставляет напоказ всю свою мерзость: тяжелее всего воспринимается его поступок с падшей, к которой он тоже вначале приходит как спаситель». Но и Аполлинаруия была в их странствии уже не та, что раньше (и это тоже отмечает А. Долинин). Она научилась мучительству не хуже Достоевского. Она терзает его недоступностью, разжигает его страсть, ранит мужское самолюбие. И он отнюдь не разлюбил ее за это. Он «предлагал ей руку и сердце» еще и накануне их окончательного разрыва, в 1865-м, да и после женитьбы на преданной, кроткой Анне Григорьевне он продолжал переписываться (а может, и встречаться) с Аполлинаруией. Он пишет ей снова и снова, всякий раз словно извиняясь за прозаичность своего брака и своего семейного счастья, называя ее «другом вечным»:

О, милая, я не к дешевому необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя и всегда уважал за твою требовательность... ты людей считаешь или бесконечно сияющими, или тотчас же подлецами и пошляками.

После путешествия по Италии Аполлиария вернулась в Париж. Город этот, чувствует она, нужен всем заблудившимся и потерянным. Дневник ее выдает теперь бесконечные поиски новой любви, взамен прежней. Проходят по страницам мало чем примечательные персонажи-мужчины: Англичанин, Валлах, Грузин, Лейб-медик... Все жмут ей руку (может, это такой дамский эвфемизм XIX века, а жмут вовсе даже не руку). Сама она пишет о погружении в тину пошлости и опять винит в этом Достоевского, который был первым: «Куда девалась моя смелость? Когда я вспоминаю, что была я два года назад, я начинаю ненавидеть Достоевского, он первый убил во мне веру...»

Потом она начинает во всем винить Париж. Мнения ее, хотя и не вовсе бессмысленные, вполне заимствованные (да и то сказать, ей всего 23, а французский она только еще собирается выучить):

До того все, все продажно в Париже, все противно природе и здравому смыслу, что я скажу в качестве варвара, как некогда знаменитый варвар сказал о Риме: «Этот народ погибнет!» Лучшие умы Европы думают так. Здесь все продается, все: совесть, красота... Я так привыкла получать все за деньги: и теплую атмосферу комнаты и ласковый привет, что мне странным кажется получить что бы то ни было без денег...

...Я теперь одна и смотрю на мир как-то со стороны, и чем больше я в него вглядываюсь, тем мне становится тошнее. Что они делают! Из-за чего хлопчут! О чем пишут! Вот тут у меня книжечка: 6 изданий вышло за 6 месяцев. А что в ней?.. [восхищение] тем, что в Америке булочник может получать несколько десятков тысяч в год, что там девушку можно выдать без приданого, сын 16-летний сам в состоянии себя прокормить. Вот их надежды, вот их идеал. Я бы их всех растерзала.

Вернувшись в Россию, она тоже не находила себе места. Все ее любви оказались несчастными. Когда ей было уже около сорока, ее впервые увидел семнадцатилетний Василий Розанов:

Вся в черном, без воротников и рукавчиков... со «следами былой» (замечательной) красоты... Взглядом опытной кокетки она поняла, что «ушибла» меня – говорила холодно, спокойно. И, словом, вся «Екатерина Медичи»... Говоря вообще, Суслиха действительно была великолепна, я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены. Еще такой русской я не видал. Она была по стилю души совершенно русская, а если русская, то раскольница бы «поморского согласия», или еще лучше – «хлыстовская богородица».

Собственно, об этом на четверть века раньше писал и Достоевский:

Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства... сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям... Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее... мне жаль ее, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна... Она не допускает равенства в отношениях наших... Она меня третировала свысока...

Молоденький Розанов женился на ней, любил ее исступленно и ненавидел. Они жили вместе шесть лет, и он много от нее настрадался, «...когда Сулова от меня уехала, – вспоминает он, – я плакал и месяца два не знал, что делать, куда деваться...»

Еще несколько лет он не давал ей отдельного вида на жительство: надеялся, что она вернется, умолял вернуться, а она отвечала: «Тысяча людей находятся в вашем положении и не воют – люди не собаки». Сулова мстила ему еще долго. Ей было уже 62 года, и Розанов давно растил детей от другой женщины, а она все еще не давала ему развода. Дала только в 1916-м, на исходе восьмого десятка лет, но продолжала люто его ненавидеть... К тому времени, как вы могли отметить, со времен парижской истории прошло больше 60 лет, а тайны всех этих непостижимых русских характеров никто не раскрыл...

Анюта и Сонечка

Надо сказать, что тому же Ф.М. Достоевскому встретила на жизненном пути и другая прелестная, но отвергшая его любовь барышня нового поколения, одна из двух дочерей отставного генерал-лейтенанта от артиллерии В.В. Корвин-Круковского. Эта возросшая в глуши отцовской усадьбы пепельноволосая красавица была уже настоящая «нигилистка», а позднее и революционерка. И то сказать, до самых дальних углов России доходили в ту пору и были зачитаны до дыр передовые журналы и дерзкие книги, взять хотя бы сочинение господина Чернышевского, написанное в камере Петропавловской крепости. Там много чего было такого, что могло смутить чистосердечных барышень, сострадавших ближнему. Хотя бы и оправдание «брака втроем», притом не в кругу избалованной аристократии, а среди благородных вольномыслящих борцов за народное дело. Полвека тому назад школьник, смертельно скучающий над романом «Что делать?», и представит не мог, какой это был животрепещущий бестселлер, даже малочувствительного к изящной прозе Ленина глубоко «перепавший»...

Впрочем, Бог с ним, с перепавшим злодеем: вернемся к нашим барышням, к русским героиням переходного периода. Конкретнее, вернемся к милым дочкам отставного генерала – Анюте и Соне. Начнем с более известной Сони, с великого дня ее жизни, который и для всех русских женщин стал как бы днем торжества... А может, преждевременного торжества и поражения...

Безвременная и загадочная смерть в феврале 1891 года одной довольно знаменитой в те времена молодой женщины, и позднее, впрочем, считавшейся у себя на родине гордостью русской науки и знаменем женского равенства (а то и женского превосходства), вызвала в то время немало кривотолков. Близкая ее подруга, шведская писательница, высказала предположение, что женщина эта, о которой она как раз в те дни писала книгу, покончила жизнь самоубийством на почве неразделенной любви. Что же касается «предмета любви», русского ученого и политического деятеля Максима Ковалевского, то он, оказавшись четверть века спустя в австрийском плену и располагая там достаточным запасом времени, написал очерк об этой своей «знаменитой однофамилице» (как вы уже догадались, речь идет о математике Софье Ковалевской), в котором не умолчал и о кривотолках, его непосредственно задевавших: «Многие пустились в догадки о причинах смерти молодой сравнительно женщины, которой в то время интересовалась вся мыслящая Европа».

В этом очерке (как, впрочем, и в предыдущих заметках на ту же тему) М.М. Ковалевский решительно опровергал слух о самоубийстве своей знаменитой подруги, ссылаясь на мнения врачей, результаты вскрытия и прочие ему известные свидетельства и документы. Мы не располагаем документами, которые подтверждали бы или опровергали ту или иную версию ее смерти, да это и не важно, ибо не тайна смерти заинтересовала нас в этой истории, а тайны женской победы и женского поражения, которые показали нам не менее драматичными, чем печальный финал замечательной жизни. Заинтриговали нас прежде всего события и итоги того высокоторжественного дня 1888 года, когда под сводами прославленного Института Франции (в парижском просторечии попросту именуемого Купол) молодой русской женщине-математику из Стокгольма, первой не только среди русских, но и среди всех европейских женщин, вручена была двойная (!) премия Французской Академии за успешное решение конкурсной задачи (которое, как докладывали люди ученые, не далось самому Лагранжу) – что-то там о «вращении твердого тела вокруг неподвижной точки»..

Что же, в сущности, произошло в тот день? Что увенчали эта премия, эти торжества, эта суэта, к чему они вели, привели, могли привести? К какой победе, какому поражению, каким итогам...

Эти упомянутые нами итоги (победа и поражение) имеют прямое отношение к решению той, возможно, даже и неразрешимой, остающейся вечной тайной проблемы, той, что в старину (в том же 1888 году, скажем, когда споры были в самом разгаре) называли уважительно «женским вопросом», а нынче кличут довольно противно, по-иностранному, феминизмом (как все в нашем воинственном веке, он бывает ныне еще и «воинствующим»). И не нам с вами, в чьей жизни все, что касается женского пола, играет столь важную роль, упускать случай коснуться связанных с этим эпизодом тайн и итогов, а равно и проследить ведущие к ним пути. Непременно коснемся, и проследим, и расскажем обо всем подробно, однако, прежде чем начать рассказ о жизни Софьи Васильевны Ковалевской, должен я высказать сожаление, что до самого последнего времени избегал даже упоминаний об этой женщине, что было связано с некоторыми тяжкими воспоминаниями отрочества, о которых из скромности расскажу лишь в скобках.

(В старших классах средней школы учительницей математики и классной руководителем была у нас высокая, стриженная в скобку, средних лет мужеподобная женщина, которую мы без особой симпатии прозвали Софья Ковалевская. Ее полумужской пиджак был вечно обсыпан мелом, а решительные мужские манеры словно призваны были отвлечь наши мысли от мук полового созревания. Кличка нашей математички была навеяна не только тем обстоятельством, что она оказалась тезкой знаменитой женщины минувших времен, и даже не тем, что поминала ее на уроках ежедневно, но еще и тем, что школу мы кончали в эпоху борьбы за русский приоритет во всех вообразимых областях жизни, так что нам об этой Софье Ковалевской твердили и до, и после уроков, и дома, и по радио, по каковой причине среднюю школу я закончил в полном убеждении, что это именно она изобрела проклятые алгебру с геометрией, ненависть к которым я переносил и на эту бедную женщину прошлого. Только теперь, когда я узнал, что Софья Ковалевская, кроме задачи о вращении твердого тела, еще кумекала понемногу в области дифференциальных уравнений и колец Сатурна, а на самом-то деле просто маялась, как все прочие люди на земле и как большинство женщин, – хотела стать писательницей, хотела быть богатой, хотела быть любимой и влюблялась, хотела выйти замуж, и раз, и два, а кончила так печально, – только теперь я к ней помягчел и даже, можно сказать, проникся, да вы поймете сами...)

Переходя к истории ее жизни, сразу начнем с сознательного периода детства, в котором при внимательном рассмотрении найдем все, в том числе и математику, и зависть, и все ее пороки вперемешку с талантами...

Итак, Сонечке минуло всего шесть лет, когда папенька ее, генерал-лейтенант Василий Васильевич Корвин-Круковский ушел в отставку и, покинув Москву, поселился в богатом своем имении Палибино, что не слишком далеко от Невеля и даже не так уж далеко от Витебска, в котором отставной генерал сделался предводителем дворянства. Сонечка была у генерала второй дочерью – может, ждали мальчика, но вот, опять дочь, что ж, и это слава Богу, да только если старшая, Анюта, ангельски хороша собой, блондиночка, пепельные локоны, то эта бедовая девчушка Сонечка была, как говорят французы, *garçon manqué* (девочка, которой бы в самый раз родиться мальчиком) по всем статьям. Собственно, родителям и такая замарашка вполне мила, но ей-то самой каково, рядом с ее безмерно обожаемой, несравненной сестрой Анютой. Конечно, Сонечка, тоже была очень милый ребенок, но ей самой это различие казалось обидным, так что, думается, уже в ту пору зародилось в ней непомерное честолюбие ребенка, обиженного судьбой. Впрочем, это только ныне приходит в голову, а в описаниях ее жизни просто ссылались на наследственность, на происхождение, и тут ведь действительно есть о чем поговорить. Семейное предание считало генерала Василия Корвин-Круковского хотя и дальним, но прямым потомком славного венгерского короля Матиуша Корвина, который известен был как знаток многих языков и любитель искусств и наук, в частности, математики. Супруга же генерала была дочерью Федора Федоровича Шуберта,

почетного члена Академии наук, тоже, кстати, имевшего генеральское звание. В зрелом возрасте С.В. Ковалевская не раз поминала о славном наследии предков:

Я получила в наследство страсть к науке от предка, венгерского короля Матвея Корвина; любовь к математике, музыке и поэзии от деда матери с отцовской стороны, астронома Шуберта; личную свободу от Польши; от цыганки-прабабки – любовь к бродяжничеству и неумение подчиняться принятым обычаям: остальное от России.

Остального тоже оказалось немало, но думать об этом еще рано. Пока – мирное, счастливое усадебное детство, красота, покой, дубравы и речки, любовь родителей, нянек и прислуги, баловство, кофе со сливками в теплую постельку... Генералу еще и не снилось, сколько может быть хлопот с милыми девчушками, когда те подрастут.

Первой подросла Аня – красавица с сильным и неумным характером захотела учиться. Учителей хватало, но она и книги из Петербурга выписывала ящиками, в том числе и вполне серьезные – «Физиология жизни», «История цивилизации». А потом и сама начала писать. Не только писать, но и отсылать написанное тайком в петербургский журнал, и не в абы какой, а в «Эпоху», к самому редактору Ф.М. Достоевскому...

У младшей же, у Сонечки, обнаружился с малых лет не слишком типичный для барышни интерес к науке математике. Оказалось, что угол ее спальни был обклеен во время ремонта литографическим изданием лекций Остроградского по дифференциальному и интегральному исчислению. И странные эти письма и крючочки Сонечку волновали с малолетства, она их на всю жизнь запомнила...

Потом грянула беда. Редактор из Петербурга, знаменитый писатель Ф.М. Достоевский напечатал Анянину повесть в журнале и даже прислал юной авторше в деревню 300 рублей гонорару (что не часто редакторы делают, но был сильно заинтригован Федор Михайлович). Однако для отца юной дочери это был первый удар – с неженатым мужчиной тайком переписываешься, нынче рукопись продаешь, а завтра...

Увидев прелестную авторшу Аняниту в Петербурге, знаменитый писатель, много уже переживший на своем веку, с ходу влюбился в нее, сделал ей предложение и даже вырвал у нее обещание выйти за него замуж, которое ему пришлось ей потом возвращать, а младшая сестричка смотрела на сестру-победительницу с завистью и не понимала, как может она не желать выйти за такого замечательного человека. Сама-то малышка Сонечка, увидев великого писателя, не могла в него не влюбиться. Позднее она описала прощание с ним в Петербурге: «Со мной его прощание было очень нежное. Он даже поцеловал меня при расставании, но, верно, был очень далек от мысли, какого рода были мои чувства к нему и сколько страданий он мне причинил...»

Аняниту же Достоевскому отказала и перед возвращением из Петербурга в усадьбу пыталась объяснить свое состояние уязвленной этим отказом сестричке, которая потом записала ее слова:

...я и сама иногда удивляюсь, что не могу его полюбить. Он такой хороший. Вначале я думала, что, может быть, полюблю. Но ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я хочу сама жить. К тому же он такой нервный, требовательный. Он постоянно как будто захватывает меня, всасывает меня в себя, при нем я никогда не бываю сама собою.

Все это Аняниту говорила, якобы обращаясь ко мне, но, в сущности, чтобы разяснить себе самой. Я делала вид, что понимаю и сочувствую, но в душе думала: «Господи! Какое должно быть счастье быть постоянно при

нем и совсем ему подчиниться! Как может сестра отталкивать от себя такое счастье!»

Воспоминания эти Софья Васильевна писала в своей стокгольмской квартире за год до смерти, а бедной Анюты уже два года как не было в живых – и так вспоминалось тогдашнее их возвращение из Петербурга в весеннюю распутицу, так вспоминалось...

Помню, как мы, уже поздно вечером, проезжали бором. Ни мне, ни сестре не спалось. Мы сидели молча, еще раз переживая все разнообразные впечатления прошедших трех месяцев и жадно втягивая в себя тот пряный, весенний запах, которым пропитан был воздух. У обеих до боли щемило сердце каким-то томительным ожиданием.

Мало-помалу совсем стемнело. По причине дурной дороги мы ехали шагом. Ямщик, кажется, задремал на козлах и не покрикивал на лошадей: слышалось только шлепанье их подков по грязи да слабое, порывистое бряцание бубенчиков. Бор тянулся по обеим сторонам дороги, темный, таинственный, непроницаемый. Вдруг, при выезде на полянку, из-за леса словно выплыла луна и залила нас серебряным светом, да так ярко и неожиданно, что нам даже жутко стало.

После нашего последнего объяснения в Петербурге с сестрой мы уже не касались никаких сокровенных вопросов, и между нами все еще существовало точно стеснение какое-то, что-то новое разделяло нас. Но тут, в эту минуту, мы как бы по обоюдному соглашению прижались друг к другу, обнялись и обе почувствовали, что нет больше между нами ничего чуждого и что мы близки по-прежнему. Нас обеих охватило чувство безотчетной, беспредельной жизнерадостности. Боже! как эта лежащая перед нами жизнь и влекла нас, и манила, и как она казалась нам в эту ночь безгранична, и таинственна, и прекрасна!

Молодость, предчувствие счастья, нежная сестринская любовь, ночной лес, весна – это здесь главное. Но тут еще нет многого, что уже нависало тогда угрозой на горизонте, что грозило не зря: новые идеи, тщеславие, желание пойти своим путем, вопреки чуждому опыту и природе...

Вспоминая ту же историю сватовства Достоевского, Анна Григорьевна Сниткина, бывшая стенографисткой у Достоевского, а потом ставшая ему женой (лучшей из жен), так передает рассказ своего мужа об Анюте Корвин-Круковской:

Анна Васильевна – одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образованна, и у нее прекрасное, доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств, но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог бы быть счастливым. Я вернул ей данное слово и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива.

О каких же идеях идет здесь речь? Об идеях социализма, конечно, о материализме, атеизме, о «нигилизме», феминизме, анархизме... Все это уже гуляло по свету и нашло благодатную почву среди русских идеалистов, главным образом, среди молодых людей и барышень из благополучных семей. Да ведь и сам Достоевский мечтал когда-то о социализме, о равенстве, однако с тех пор много воды утекло, много мук претерпел Федор Михайлович, а в пору сватовства к Анюте он уже упрекал социализм в атеизме, в том, что тот хлопочет лишь о хлебе, о преодолении нищеты, об устройстве общества без личной ответственности,

что многие социалисты «покамест страшно любят деньги и ценят их даже безмерно». Писатель говорит о корысти, а были ведь еще честолюбие и властолюбие... «Никогда не сумеют они разделить между собой», – пророчил Достоевский, а юные сестрички из Палибина жили тогда в увлечении модными идеями и до зрелости мысли, пожалуй, не суждено было дожить ни одной. Старшая же из них, так сильно влиявшая на младшую, вдобавок обладала, по многим свидетельствам, не только «прямолинейностью», но и строптивым, необузданным характером. Но пока, в Палибине, речь шла только об отъезде в Петербург и о страсти к учению – учиться, учиться, учиться... Сколько ни убеждал дочерей почтенный отец-генерал, что «долг всякой порядочной девушки жить со своими родителями», удерживать он их больше не мог – обе уехали в Петербург, уже кишевший юными «нигилистками». Собственно и в Петербурге выбор для девушки был невелик – женские курсы. За настоящим образованием ехать следовало в Швейцарию, но незамужней женщине заграничный паспорт получить было трудно, и на помощь пришла уловка фиктивных браков. Находились молодые люди, готовые прийти на помощь прелестным и обездоленным соотечественницам (на жаргоне нигилистов звали этих рискованных молодых людей «консервами»). Нашелся такой и для милых сестер Корвин-Круковских. Звали его Владимир Ковалевский, он и сам собрался за границу. Вопреки всем расчетам и ожиданиям, выбрал он из двух не пепельноволосую красавицу Анюту, а не слишком заметную Сонечку, которая была его на восемь лет моложе. Впрочем, по воспоминаниям подруги, и она была прелестна в ту пору:

Ей минуло уже 18 лет, но на вид она казалась гораздо моложе. Маленького роста, худенькая, но довольно полная в лице, с коротко обстриженными вьющимися волосами темно-каштанового цвета, с необыкновенно выразительным и подвижным лицом, с глазами, постоянно менявшими выражение, то блестящими и искрящимися, то глубоко мечтательными. Она представляла собой оригинальную смесь детской наивности с глубокою силой мысли.

...Она привлекала к себе сердца безыскусственною прелестью... и старые и молодые, и мужчины и женщины – все были ею увлечены. Глубоко естественная в своем обращении, без тени кокетства, она как бы не замечала возбуждаемого ею поклонения. Она не обращала ни малейшего внимания на свою наружность и свой туалет, который отличался всегда необыкновенной простотой с примесью некоторой беспорядочности, не покидавшей ее в течение жизни...

Пристрастное это описание отчасти подтверждали и другие. Вот что писал в своем очерке Максим Ковалевский:

В молодости Софья Васильевна была очень красива, и знавший ее в то время Климент Аркадьевич Тимирязев говорил мне, что за нею очень ухаживали. Но натура умственная по преимуществу, она в это время всецело была поглощена своею специальностью и не давала никакого простора чувствам.

Итак Анюта и Сонечка, вступившая в фиктивный брак с «милым братом» В.О. Ковалевским, уезжают все вместе в Германию, в знаменитый университетский Гейдельберг. Соня посещает лекции по математике, физике и астрономии, потом едет в Берлин к знаменитому математику Вейерштрассу. Ей не удается поступить в университет, и тогда великодушный, щедрый Вейерштрасс, убедившись в хороших ее знаниях и незаурядных способностях, начинает давать ей уроки дома. Анюте же науки показались скучны и утомительны, ей хотелось какой-то другой жизни и других занятий. Она уезжает в Париж, общается там в бунтарских кружках с молодыми радикалами и влюбляется в бланкиста Жаклара. Он был

студент-медик, но политикой интересовался больше, чем медициной. За участие и демонстрациях Жаклара исключили из университета, и, опасаясь ареста, он вместе с Анютой бежал в Швейцарию. Вскоре во Франции начинается новая смута, и Жаклар возвращается в Лион, где его избирают «народным комиссаром». Потом он едет в Париж в составе лионской делегации, да там и остается, ибо грядет Парижская коммуна.

Сонечка упорно постигает науки, но молодое сердце ее томится по любви, и когда она узнает, что Анюта вышла замуж по любви, ее собственное математическое одиночество оказывается нестерпимым. Ее письма к «милому брату» Владимиру Онуфриевичу Ковалевскому становятся все более нежными, и в конце концов их брак перестает быть только фиктивным. В 1870 году им пришлось выручать активных деятелей Парижской коммуны Анюту и Жаклара. Коммуна началась с революционного террора и бессмысленных репрессий, а закончилась контрреволюцией, разгромом бунтарей и новыми репрессиями. Соня и Владимир Ковалевский ринулись в Париж. С их помощью Жаклару удалось бежать оттуда фамилией Ковалевский. Секретарь русского посольства в Париже сообщал в то время в Петербург о Жакларе и его русской жене как о сторонниках кровавого насилия. Думаю, он не слишком преувеличивал.

Анюте удалось снова перебраться в Швейцарию, но она уже так и не оправилась после перенесенных физических лишений и страхов. Остаток ее жизни прошел в недомоганиях.

В 1874 году Софья и Владимир Ковалевские возвращаются в Петербург. Приходит пора семейной жизни, и казалось бы ничто не может помешать счастью молодых, образованных, далеко не бедных симпатичных супругов... 1875 год, Соня в Палибине, ждет приезда Владимира, шлет ему стихотворное письмецо:

Твоей смуглянке скучно, мужа ожидает.
Раз десять в сутки на дорогу выбегает.
Собаки лай, бубенцов звонких дребезжанье
В ней возбуждают трепет ожиданья.
И вновь бежит она и, обманувшись вновь,
Клянёт мужей неверных и любовь.

В 1878 году у Ковалевских родилась дочка, которую называли тоже Софьей (а в семье звали Фуфой). И все же этот брак двух благородных, талантливых, милых людей трудно назвать счастливым. Владимир Ковалевский был добрый, любящий муж, но Софья Васильевна находила его любовь недостаточно пылкой, а жизнь с ним несколько однообразной. Об этом она не раз говорила своей подруге Юлии Лермонтовой, так писавшей о Ковалевском в своих воспоминаниях:

Это был талантливый, трудолюбивый человек, совершенно непритязательный в своих привычках и не чувствовавший никогда потребности в развлечениях. Софа говорила часто, что ему «нужно только иметь около себя книгу и стакан чаю, чтобы чувствовать себя вполне удовлетворенным».

... Когда Софа много лет спустя разговаривала со мной о своей прошлой жизни, она с наибольшей горечью выражала всегда следующую жалобу: «Никто меня никогда не любил искренне». Когда я возражала ей на это «Но ведь муж твой тебя любил горячо!» – она всегда отвечала: «Он всегда любил меня только тогда, когда я находилась возле него. Но он умел отлично обходиться и без меня».

Та же Лермонтова признает, однако, что подруга ее Софья Васильевна была чрезмерно требовательной, желала постоянных признаний в любви, оценки своих исключительных талантов, непрестанных похвал...

Надо сказать, что некоторый избыток тщеславия (порой, впрочем, смягченного самоиронией) чувствуется не только в письмах Софьи Васильевны, но и на автобиографических страницах ее прозы. Скажем, в этих строках повести «Нигилистка»:

Репутация ученой женщины окружала меня известным ореолом; знакомые все чего-то от меня ждали; обо мне успели уже прокричать два-три журнала, и эта еще совсем новая роль знаменитой женщины, хотя и смущала меня немного, но все же очень тешила на первых порах.

... Я была и смущена и польщена этим доказательством своей известности.

Но когда же успевали супруги скучать, если оба они – ученые и так мечтали отдаться науке? Владимир Онуфриевич был видный палеонтолог, а Софья Васильевна столько положила сил и одолела препятствий, чтобы стать математиком, горы своротила на пути к вершинам науки, столько получила бескорыстной помощи... Казалось бы – грызите гранит науки и дальше. Тем более что воспитанием ребенка они не занимались, а к домашней работе Софья Васильевна была не приспособлена. Наука, только наука – даже две, математика и палеонтология...

И тут выясняется самое странное. По возвращении в Петербург Ковалевские наукой не занимались, а оба всерьез увлеклись... бизнесом. Вот как вспоминает об этом сама С.В. Ковалевская:

В то время все русское общество было охвачено духом наживы и разных коммерческих предприятий. Это течение захватило и моего мужа, и отчасти, должна покаяться в своих грехах, и меня самое. Мы пустились в грандиозные постройки каменных домов, с торговыми при них банями. Но все это кончилось крахом и привело нас к полному разорению.

Наверное, не все общество ринулось в земельные спекуляции и домостроение, но Ковалевские, уже взошедшие на первые ступени науки (Софья Васильевна в свои 24 года была доктором математических наук), в них ринулись. Любопытные подробности сообщает об этом петербургский краевед Будинов.

Очаровательный трехэтажный особняк на Васильевском острове, купленный для сестер Корвин-Круковских матерью, молодые ученые Ковалевские решают достроить до шести этажей, взяв в долю революционную семью парижан Жакларов. Когда выяснилось, что фундамент особняка не выдержит, новые бизнесмены решают построить во дворе пятиэтажный флигель, а затем и второй флигель. Затея кончилась удачно, квартиры во флигелях были сданы, супруги даже разбогатели. Вспоминают, что Софью Васильевну иные петербургские завистники стали звать «миллионершей». А писательница госпожа Литвинова вспоминает, что Софья Васильевна стала «совершенно светской дамой, имела свою ложу в театре и обожала шоколадные конфеты».

Молодые предприниматели входят во вкус. Купив особняк на Девятой линии, они ломают его и затевают новое строительство. Математик Софья Васильевна верит и в точность своих расчетов и в свою удачливость. В моду входят общественные бани, которые проектирует один из родственников семьи. Решают построить по дешевке баню, а на чердаке, где будут проходить теплые трубы, устроить доходные парники...

Что можно сказать против всех этих затей? Краеведы жалеют особняки, каждый из которых был связан с видными именами русской культуры. Автор этих строк сожалеет лишь о зря пропавших отчаянных усилиях борцов за женское освобождение. О больших жертвах

и скудных плодах. А сам бизнес – что ж, дело прекрасное. Но только и для него надо иметь особый талант.

Осенью 1878 года доктор математических наук родила дочку Сонечку. Отойдя от дел строительства, Софья Васильевна нянчила доченьку в деревянном особнячке на Большом проспекте Васильевского острова, развела огород и даже держала корову на участке, чтоб кормить Сонечку молоком.

А видный палеонтолог Владимир Онуфриевич остался на строительной площадке один. Здания быстро росли, но деньги таяли еще быстрее. Талантливый, честный и наивный ученый не знал, как остановить катастрофу. Дельцом он оказался никудышным. Старший брат советовал ему все бросить, остановиться. Но было поздно. Через год Ковалевские вконец разорились. Продажа бань их не спасла. Долги лавиной обрушились на супругов, и Владимир Онуфриевич представить себе не мог, как он сможет заработать столько денег, чтоб расплатиться...

Софья Васильевна перепробовала несколько занятий. Начав с издательских опытов, она кончила тем, что перебивалась театральными рецензиями. А между тем Ковалевский еще глубже, чем жена погрузился в дебри бизнеса, встал во главе нефтяной компании. Привело это, как уже говорилось, к полному разорению (родительское наследство было спущено) и скандалу. Ковалевского обвиняли во всех смертных грехах.

Узнав о бедствиях своей ученицы, добрейший старик Вейерштрасс пригласил ее жить у него в доме в качестве «третьей сестры». Он же просил своего ученика, шведского математика Миттаг-Лефлера помочь Софье Васильевне вернуться к науке, и в 1882 году она с помощью Миттаг-Лефлера уезжает за границу, пристроив дочку Юлии Лермонтовой. В апреле 1883 года Софья Васильевна узнает о самоубийстве запутавшегося в делах Владимира Онуфриевича: запершись в номере московской гостиницы, он отравился хлороформом.

В том же году Ковалевская начинает читать лекции в Стокгольмском университете, где вскоре становится ординарным профессором.

Отчего ж не в России, где были друзья и дочь? Говорили, что в России не нашлось для нее достойного места, что она могла там преподавать только на женских курсах. Хорошо это или плохо, не мне судить. Так или иначе, с 1883 года до конца своих дней Софья Васильевна преподавала в Швеции, неизменно, как водится, скучая по России.

Об этом, «профессорском», периоде жизни С.В. Ковалевской осталось довольно много воспоминаний ее друзей, не говоря уж о письмах на родину и литературных произведениях, написанных ею самой и ее подругами-писательницами. Софья Васильевна хорошо говорила по-французски, выучила шведский, вошла в среду стокгольмской научной элиты. В письмах она не раз упоминает, что ее называют здесь «королевой математики», «принцессой математики». С трогательным тщеславием она следит за появлением своего имени в газетах. Ковалевская впервые пробует жить со своей семилетней дочерью, хотя, по всеобщему мнению, к любой повседневной жизни она была мало приспособлена. Чаще она просто искала, кому бы сбыть дочку. Вот что писала ее подруга Лефлер-Эндгрэн:

С мужской энергией и мужским умом и с замечательным в некоторых случаях упорством она соединяла большую долю женской беспомощности. Она всегда чувствовала потребность в опоре, в друге, который помогал бы ей выпутываться из затруднительных обстоятельств и облегчал жизнь. Почти всегда и всюду она находила такого друга, а когда не находила, то чувствовала себя несчастной и потерянной, точно беспомощное дитя.

Она не умела купить себе платье, не могла сама держать свои вещи в порядке. Прожив столько времени в Стокгольме, она не умела отыскать в городе дорогу, а знала только улицы, которые вели к Высшей школе и к дому самых близких друзей. Она не умела позаботиться ни о своих практических

делах, ни о доме, ни о дочери, из-за чего вынуждена была всегда оставлять ее у кого-нибудь, – одним словом, была она до такой степени непрактична, что все мелкие жизненные заботы оказывались для нее нестерпимы.

Такую же беспомощность проявляла Софья Васильевна и в интимной жизни. Подруги-писательницы замечали, что сердце ее жаждет любви, но честолюбие мешает полюбить с самоотречением. Пытаясь разобраться в этой своей беде, Софья Васильевна грешила на проклятое «филистерское» наследие романтических Шубертов:

Много раз в жизни я совершала какое-нибудь безумство, но это не удавалось мне никогда. Я так страшно, так неисправимо рассудительна. Мои предки со стороны матери – немецкие филистеры – очевидно взяли верх над казаками и цыганами, кровь которых течет в моих жилах по отцу...

Эти немногие перечисленные здесь черты талантливой женщины, стоявшей у истоков русского феминизма (хоть и не имевшей привычек более поздней раскованной петербургской богемы), кажутся вполне знакомыми и узнаваемыми. Узнавание это не мешает глубоко сочувствовать нашей героине, а ей ведь понадобится отныне все наше с вами сочувствие, ибо она вступает в блистательный и трагический период своей жизни.

В 1887 году в Швейцарии после хирургической операции умерла бедная Анюта. «Со смертью сестры, – писала Софья Васильевна, – порвана последняя нить, связывавшая меня с моим детством». Софья Васильевна не поддерживает никаких отношений с Жакларом, который, похоже, перебесился, учится на врача, женился. Потерян и след племянника Юрочки. Ковалевская пишет прекрасные воспоминания о детстве. Литературные занятия притягивают ее все больше. Она пишет из Стокгольма кузине:

...Ты, наверно, удивишься, услышав от меня, что я во время каникул, чтобы отдохнуть от математики, занимаюсь писательством, а в последний год даже очень прилежно, так как я здесь очень подружилась с г-жой Эндгрэн, которая в настоящее время слывет лучшей шведской писательницей. На этих днях появится написанная нами обеими драма.

В другом письме Софья Васильевна объясняет, что нет никакого противоречия между наукой и поэзией:

Я понимаю, что Вас так удивляет, что я могу зараз заниматься и литературой, и математикой. Многие, которым никогда не представлялось случая более узнать математику, смешивают ее с арифметикой и считают наукой сухой и бесплодной. В сущности же это наука, требующая наиболее фантазии, и один из первых математиков нашего столетия говорит, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе. Только, разумеется, чтобы понять верность этого определения, надо отказаться от старого предрассудка, что поэт должен сочинять что-то несуществующее, что фантазия и вымысел – это одно и то же. Мне кажется, что поэт должен только видеть то, чего не видят другие, видеть глубже других. И это же должен и математик.

Что до меня касается, то я всю жизнь не могла решить, к чему у меня больше склонности – к математике или к литературе? Только что устанет голова над чисто абстрактными спекуляциями, тотчас начинает тянуть к наблюдениям над жизнью, к рассказам, и наоборот – в другой раз все в жизни начинает казаться ничтожным и неинтересным, и только одни вечные, непреложные научные законы привлекают к себе. Очень может быть, что в каждой из этих областей я сделала бы больше, если бы предалась ей

исключительно, но тем не менее я ни от одной из них не могу отказаться совершенно.

Итак, математика, преподавание, литературные и драматургические опыты, даже попытка сближения со знаменитым путешественником (оказалось, что у Нансена уже есть невеста), и все же – одиночество, тоска по близости, эмоциональный голод...

Но вот в 1887 году на горизонте появляется Он. Это знаменитый однофамилец Софьи Васильевны Максим Ковалевский, русский человек, русский ученый, бунтарь, изгнанник, человек близких убеждений – хотя Софья Васильевна и не была, в отличие от сестры, коммунаркой, членом партии, революционеркой и экстремисткой, она долгое время оставалась близкой к радикальным кругам, она тоже считала (и писала об этом Петру Лаврову из Стокгольма), что «каждый обязан свои лучшие силы посвятить делу большинства», что «очень полезно распространять всеми способами сочувствие к нигилизму, тем более, что Швеция – такая естественная и удобная станция для всех желающих покинуть матушку Россию внезапно». А М.М. Ковалевский Россию уже «покинул внезапно»: любимец студентов, он вынужден был оставить университет, поселился на Французской Ривьере, познакомился с Марксом, читал время от времени лекции в Париже. Этот бородатый гигант, по отзывам многих (в том числе Чехова), – интереснейший собеседник, один из самых умных и образованных русских за границей («Он теперь читает лекции в Париже, – сообщает Чехов в одном из писем. – Повидайтесь с ним, пожалуйста: это большой человек во всех смыслах и интересный...»).

С подачи Софьи Васильевны М. Ковалевский был приглашен в Стокгольм для чтения лекций. По приезде он послал письмецо С.В. Ковалевской и в тот же день получил записку с нарочным: «Жаль, что у нас нет на русском языке слова *välkommen*, которое мне так хочется Вам сказать. Я очень рада Вашему приезду и надеюсь, что Вы посетите меня немедленно. До 3 часов я буду дома. Вечером у меня именно сегодня соберутся несколько знакомых, и надеюсь, что и вы придете». И Ковалевский, конечно, пришел в тот же вечер, встретил много замечательных, даже выдающихся шведов, а главное – впервые увидел хозяйку дома. Позднее он вспоминал:

Для меня центром интереса была, разумеется, моя знаменитая однофамилица. Я проводил свободное время в ее обществе... Мы сошлись приятельски потому, что оба были одинокими на чужбине. Она окружена вниманием, даже восторгом, но без сердечной близости, чувствуя себя все время русской женщиной, оторванной от своей обычной среды, живущей русскими интересами, жаждущей всего больше душевной беседы о том, что делается по ту сторону Балтийского моря.

Это все правда, но, конечно, лишь полуправда или даже четверть правды (тем более что М. Ковалевский сообщает нам попутно, что Софья Васильевна – не только горячая патриотка, но и совершеннейшая космополитка). Письма Софьи Васильевны в эти дни (и даже первые страницы начатой ею новой повести), содержат восторженные описания внешности этого вальяжного русского барина («настоящий боярин»), этого умницы, блестящего ученого, бунтаря и либерала. Вот одно из таких писем, написанных подруге сразу после отъезда Максима Максимовича из Стокгольма:

Вчерашний день был вообще тяжелый для меня, потому что вчера вечером уехал М... Он такой большой... и занимает так ужасно много места не только на диване, но и в мыслях других, что мне было бы положительно невозможно в его присутствии думать ни о чем другом, кроме него. Хотя мы во все время его десятидневного пребывания в Стокгольме были постоянно вместе, большей частью глаз на глаз, и не говорили ни о чем другом, как

только о себе, притом с такой искренностью и сердечностью, которую тебе трудно даже представить, тем не менее я еще совершенно не в состоянии анализировать своих чувств к нему. Я ничем не могу так хорошо выразить произведенное им на меня впечатление, как следующими превосходными стихами Мюссе:

Он весел так – но мрачен вдруг,
Сосед ужасный – чудный друг,
Он мал, но грозен пьедестал,
Он прост, но все уж испытал,
Вот был открыт, но хитрым стал...

К довершению всего – настоящий русский с головы до ног. Верно также и то, что у него в мизинце больше ума и оригинальности, чем можно было бы выжать из обоих супругов Х. вместе, даже если положить их под гидравлический пресс...

Мне ужасно хочется изложить этим летом на бумаге те многочисленные картины и фантазии, которые роятся у меня в голове... Никогда не чувствуешь такого сильного искушения писать романы, как в присутствии М., потому что, несмотря на свои грандиозные размеры (которые, впрочем, нисколько не противоречат типу истинного русского боярина), он самый подходящий герой для романа (конечно, для романа реалистического направления), какого я когда-либо встречала в жизни. В то же время он, как мне кажется, очень хороший литературный критик, у него есть искра Божия.

Это письмо влюбленной женщины. Одинокая «королева математики» влюбилась, она встретила героя своего романа, и ей сразу захотелось написать о нем роман, потому что Софья Васильевна еще и писательница. Вскоре она приступает к этому роману, правда, успевает написать лишь несколько страниц, которые при публикации получают название «Отрывок из романа, происходящего на Ривьере»: барышня-бестужевка едет из Италии в Ниццу, и на остановке поезда в Монте-Карло в купе, наступая на ноги дамам, входит Он, ее герой: «Массивная, очень красиво посаженная на плечах голова представляла много оригинального... Всего красивее были глаза...». Барышня наивна, и герой посмеивается над ней в душе: «Господи, Боже мой, как благородно. Так мне и сдается, что вчера я все это в последней книжке “Северного вестника” прочитал... Ну, попался я! Авторское самолюбие задел. Никогда мне барышня не простит... однако уж не хватил ли я через край...»

Без сомнения, все это отражает их разговоры и споры. Но нет сомнения и в том, что Максим Ковалевский был увлечен Софьей. Они встречались, вместе путешествовали по Европе, собирались ехать в Италию – они намерены были пожениться. Но после первых восторгов пришли, вероятно, трудности и разногласия, возникли обиды. Вполне возможно, что строгий ценитель М. Ковалевский без восторга высказывался о ее литературных произведениях, на которые Софья возлагала большие надежды.

Подруга и биограф С.В. Ковалевской шведская писательница А.Ш. Лефлер-Эдгрэн уделила много места этой последней любовной неудаче Софьи, ее роману с М.М. Ковалевским:

Она познакомилась с человеком, который, по ее словам, был самым даровитым из всех людей, когда-либо встреченных ею в жизни. При первом свидании она почувствовала к нему сильнейшую симпатию и восхищение,

которые мало-помалу перешли в страстную любовь. Со своей стороны, и он стал вскоре ее горячим поклонником и даже просил сделаться его женою. Но ей казалось, что его влечет к ней скорее преклонение перед ее умом и талантами, чем любовь, и она, понятно, отказалась вступить в брак с ним, а стала употреблять все усилия, чтобы внушить ему такую же сильную и глубокую любовь, какую сама чувствовала к нему...

Софья бесконечно мучилась сознанием, что ее работа становится постоянно между нею и тем человеком, которому должны были безраздельно принадлежать все ее мысли... Именно в то время, когда самая сильная симпатия неудержимо влекла их друг к другу, она предавалась так страстно погоне за славою и отличиями...

Ее любовь была всегда ревнивой и деспотической, она требовала от того, кого любила, такой преданности, такого полного слияния с собою, какое только в крайне редких случаях было возможно для столь сильно выраженной индивидуальности, для такого даровитого человека, каким был тот, кого она любила. Но с другой стороны, и она сама никак не могла решиться совершить полный перелом в своей жизни, отказаться от своей деятельности, от своего положения – это было то требование, которое он предъявлял к ней, – и примириться с мыслью быть *только* его женою.

Все это правда, и ведь Максим был в Париже, когда она упивалась этой двойной премией, этими речами, этой известностью, он видел, как на лице ее проступают все новые морщинки... Он слышал о том, что она напишет (для отдыха) большой роман, а потом еще один, и еще – и жестоко напоминал ей, что писать надо так, как Тургенев, как Чехов, или не писать вообще...

Но он радовался тем счастливым дням, когда «ей нужно было легкое чтение или приятельский разговор», потому что симпатичный «боярин», в свою очередь, не мог не увлечься этой совсем (по нынешним понятиям) молодой, красивой, талантливой женщиной – математиком, писательницей, вообще, женщиной всесторонне одаренной.

С.В., – писал Ковалевский, – была натурой, как теперь говорят, многогранной... Она интересовалась и естественными науками, и историей, и общественным знанием. Способность быстрого ассимилирования всякого рода мыслей в любой области и затем критического отношения к ходячим теориям, раскрытия недочетов и слабых сторон в тех или иных построениях была в ней поистине изумительна. А разве это не доказательность и большого ума, и значительной талантливости...

В общем, все дошедшие до нас отзывы свидетельствуют о взаимном увлечении. Ковалевские много времени проводят вместе, путешествуют, живут на вилле Максима в Болье близ Ниццы. Конечно, такой строгий критик и знаток литературы, как Ковалевский (он даже Чехова упрекал в отсутствии мировоззрения и не хотел ставить его на уровень Тургенева) весьма сдержанно отзывался о сочинениях Софьи Васильевны. Подобное отношение болезненно воспринимает любой автор, но даже это пока не может омрачить первые месяцы их увлечения. А что может? Это мы попробуем угадать в свой срок, а пока – путешествия вдвоем, радость откровений и душевной близости.

В Стокгольме Софья представляет Максима великому Норденшельду, в Париже – Мечникову. Правда, Илья Ильич не в духе, он считает, что Ковалевский напрасно дождался, пока его попросят из университета, – вот он, Мечников, не доставил им этой радости, ушел сам. В Париже Софья знакомит Ковалевского и с другими знаменитостями. В разговорах двух Ковалевских уже проступают контуры будущей совместной жизни. Он удочерит под-

растающую Фуфу: ребенок должен иметь семью... Пока же бедную девочку пристраивают куда-нибудь на все каникулы, чтобы освободить мать для поездок.

Отношения пары однофамильцев почти безмятежны. Можно ли уследить тени минутного сомнения или недовольства в интонациях так легко завоевавшего ее сердце «боярина» Ковалевского? Мне кажется, что можно, – они присутствуют и в поздних, очень сдержанных мемуарных очерках Максима, причем даже не там, где говорится о не слишком убедительных литературных трудах Софьи Васильевны (которые он сам же после ее смерти собрал и издал), а там, где Ковалевский пишет о главном (с точки зрения отечественной жизнеописательной публицистики и истории науки) ее увлечении – о математике. Вот как кончается самый, пожалуй, откровенный пассаж в биографическом очерке Ковалевского, написанном в плену:

В молодости С.В. была очень красива... Испытанное ею за границей одиночество заставило ее искать дружбы, и когда представилась возможность частого общения с не менее ее оторванным от русской жизни соотечественником, в ней заговорило также нечто близкое к привязанности. Иногда ей казалось, что это чувство становилось нежностью. Но это нисколько не мешало ей во всякое время уйти в научные занятия и проводить ночи напролет в решении сложных математических задач...

Не приведи Господь, чтоб о наших любовях вспоминали с такой испуганной осторожностью. Если женщина мчится сломя голову из Стокгольма за тридевять земель на Ривьеру, чтобы обнять любимого, это на осторожном языке мемуариста описано как стремление обрести «возможность частого общения с соотечественником» и как «нечто близкое к привязанности». Боже, какие дубовые эвфемизмы... А вот претензии к проклятой математике в этом пассаже М. Ковалевского вполне живые. «Я, разумеется, не имею никаких данных, – заявляет он, – чтобы позволить себе суждение о том, что была С.В. в своей специальности». И дальше ссылается на проклятую парижскую премию, которая должна, вероятно, свидетельствовать, что С.В. «обнаружила и знания, и оригинальность». Если б не премия, «данные» ему отыскать было б еще труднее. Осталась бы одна антипатия к математике.

Однако проследим эту линию любви и ненависти от самого начала – от первых счастливых дней знакомства в Стокгольме. Сказочные дни узнавания! Они были все время вместе, пока профессор Миттаг-Лефлер не объяснил, что С.В. нужно закончить диссертацию для парижской Академии и лучше бы ему, Ковалевскому, уехать на время в недалекую Упсалу. «Когда я вернулся... – вспоминает Ковалевский, – я нашел С.В. внезапно состарившейся: так сильно было то умственное напряжение, которое ей пришлось пережить. Она только медленно оправлялась от своего переутомления...»

Мы еще вспомним и об этом переутомлении, и об этом внезапном старении – позже, в Париже, а пока их ждал целый год встреч в разных местах Европы, совместного чтения, разговоров, надежд и общих планов... Ну да, речь шла о том, чтобы обвенчаться и чтобы он удочерил бедную ее доченьку Фуфу, которая все детство провела у чужих людей.

А потом пришла великая новость из Парижа: за решение хитрой задачи насчет вращения твердого тела (которую не решил сам Лагранж) Софье Васильевне Ковалевской из Стокгольма (но мы-то с вами знаем, что она из России, из Петербурга, из Палибина) присуждена премия Французской Академии, да что там – не просто премия, а двойная премия (двойные деньги, двойные честь и слава). И конечно, всеобщее волнение и восторги – потому что не просто математик одержал победу, а русский математик, более того, русская женщина...

Это был великий день. Вручали диплом под знаменитым куполом Института Франции (под ним и размещаются вальжно пять французских академий) – было много волнений, много поздравлений и речей. И среди старинных бюстов и бесконечных славословий грузно

сидел в сторонке Максим Ковалевский, которому становилось все больше и больше не по себе. Он видел, с какой ненасытной жадой впитывает Софья Васильевна все эти нескончаемые похвалы, как меняется на глазах ее утомленное лицо – покрывается сетью морщинок, стареет, стареет... Что значит это его неоднократное упоминание о ее старении, усталости – снова в связи с математикой, о которой мы с вами, разумеется, «не имеем никаких данных», но вот премия, двойная премия, тройная морока... И когда замечают преждевременные (или нет?) морщинки на лице молодой женщины (ей ведь всего 38, или – уже 38), то не значит ли это, что женщина перестает нравиться или чем-нибудь раздражает?

Это был день торжества русской науки, женского равенства (или даже превосходства), красное число феминизма. Но вот не был ли этот день переломным в истории отношений этих двух людей, Максима и Софьи? Разве не опасно, когда замечают и избыток тщеславия, и морщинки, и внезапное старение? Не стало ли это для нее днем еще одной – на сей раз последней – женской катастрофы, во всяком случае – начала катастрофы?

Мне довелось недавно сидеть в великолепном зале под куполом Института. Я выбрал стул (сам выбрал и назвал его «стулом Ковалевского»), уселся на нем в одиночестве, и перед моим взглядом прошла вся суэта научных торжеств, весь тот долгий день. Знаменательное начало. Потом уж женское равенство стало одерживать победу за победой. Изысканные, элегантные дамы-террористки стреляли из-за угла в отечественных министров и полицейских, проливали кровь под водительством продажного Азефа, шли на каторгу, обживали тюрьмы...

Вернемся к нашим героям Максиму и Софье.

Они встречались целых два года в Италии, Англии, Швейцарии. Летом, снова сбыв кому-нибудь Фуфу, Софья Васильевна приезжала в приморский Болье. Доченьку мать с собой не брала, видно, разговоры о ее удочерении сами собой иссякли. Все шло к концу. Она еще была и веселой, и резвой, молодая Софья Васильевна, и Ковалевский отмечал, как расцветает она в пору бездумных радостей карнавала в Ницце. Но как ему было забыть, старому холостяку, и ее внезапное «старение», и сердечные приступы, и тщеславные воспоминания о международных и российских поздравительных телеграммах, о все той же академической премии (двойной!)... Дочка Фуфа отмечала, что мама приезжала в Стокгольм грустной.

Особенно грустной была совместная встреча Нового года (1891-го). Ковалевские ездили в Геную, и в канун Нового года Софье вдруг захотелось сходить на знаменитое генуэзское кладбище. Обилием мраморных статуй итальянские кладбища, даже в глухой деревне, превосходят и парижские, и петербургские, ну а генуэзское кладбище и вовсе заповедник погребального искусства. И вот, остановившись перед какой-то беломраморной надгробной красавицей, бедная Софья Васильевна сказала вдруг, что один из них не переживет этот год. И ясно было, о ком идет речь...

Она не хотела возвращаться в Стокгольм. Но он не удержал ее – не хотел, не умел? И она смирилась, а он, вероятно, согласился в душе с тем, что она выберет (должна выбрать) математику. Или литературу (об этом тоже часто шла речь). По дороге на станцию им перебежала дорогу черная кошка, и Софья Васильевна, испуганная, уговорила Максима проводить ее в Канны. Ковалевский позднее писал, что она простудилась еще в Каннах, усугубила простуду в Париже и на пароме по пути в Швецию, что по приезде она сразу слегла и вызвала врача, который поставил неправильный диагноз, а при вскрытии обнаружилось, что у нее еще и слабое сердце. Несмотря на все эти медицинские свидетельства, может и то было правдой, что ей больше не хотелось жить. Что великая история женской победы привела к трагическому исходу. К гибели прекрасной, талантливой молодой женщины, гибели ее первого мужа, сиротству малолетней дочурки, к горечи друзей, к замешательству (и почти отречению) ее сердечного друга-однофамильца. Он рассказывал позднее, что, получив телеграмму в Болье, двинулся в Стокгольм и уже в Киле получил вторую телеграмму – о смерти

Софьи. Максим очень странно выступал на похоронах: говорил от имени «передовой России» и «передовой науки» (но только не от своего). В его речи не было ни единого теплого слова. Покойную возлюбленную он называл Софьей Васильевной...

Глава II «Где вы теперь? Кто вам целует пальцы?»

Людмила

Заря серебряного века, этого столь высоко чтимого ныне русского ренессанса культуры, искусства и настойчивых духовных поисков, забрезжила еще лет за десять до прихода «календарного» XX века. Забрезжила без особого шума. Не возвещали ее приход ни фанфары, ни пушечная канонада с корабельного борта, ни даже пистолетный выстрел, вроде того, что, глухо прозвучав в 1921 году в пыточном подвале ГПУ, пресек жизнь бесстрашного поэта-конквистадора и заодно прихлопнул яркую эпоху вольного духа и блистательной россыпи талантов.

Знатоки смогли все же отметить, какими были первые ее знаки и веянья, различимые доныне в шелесте страниц при свете настольной лампы. Вот, скажем, вышли три сборника «Русские символисты», составленные самим Валерием Брюсовым – кем же еще? Или, скажем, появился трактат Николая Минского «При свете совести: Мысли и мечты о смысле жизни». Год 1890... Кем был Валерий Брюсов для русского символизма и вообще для новейшей поэзии, объяснять, наверно, излишне. Если б давали поэтам чины, непременно вышел бы он в генералы. Но поэтам таких чинов не давали, а в печальные годы, когда умер Брюсов, генеральские чины были вообще временно отменены в России. Однако отозвавшаяся на смерть Брюсова Цветаева назвала ушедшего групповода символизма применительно к новой манере – героем труда. Тем более было модное название уместно, что умер поэт с партбилетом в кармане.

Названный нами Николай Минский нынешнему читателю куда меньше известен, чем Брюсов, однако в том 1890-м и его имя было славным. Он считался ведущим поэтом журнала «Вестник Европы», его высоко ценили собратья по рифме, и он даже удостоился особого внимания тогдашней цензуры, которая сожгла тираж одного из сборников его стихов (для тех вегетарианских времен – воистину алый знак доблести). В трактате «При свете совести» предтеча символистов (или даже «отец русского декаданса») Николай Минский развивал идеи своей новой «религии небытия» (меонизма), в которой тогдашний читатель, обожавший всяческие духовно-религиозные искания, без раздражения различал, вероятно, и отзвуки народнических идей, и восточные мотивы, и призывы к жертвенности, и весьма популярное нищезанятие. Мы с вами проследим попутно за извилистым путем Николая Минского, но пока, вступив вослед ему в серебристое мерцанье эпохи, напомним о главных героинях нашего повествования – о прекрасных женщинах. На обильном пиру века не забудем ни предрассветных звезд, ни деликатного польского тоста «За здравье пенькных пань по раз перфши» («Первый тост за здоровье прекрасных дам»), ни всегда своевременного английского напоминанья «Ladies first».

Итак, Минский, Брюсов, а также их прекрасные женщины. Вон они уже выходят из тени, эти знаменитые дамы – одна, вторая, третья... Всех нам, конечно, не описать, и даже, пожалуй, не счесть, но мы будем очень стараться...

Первой представлю на ваш суд жену Минского, красавицу-поэтессу Людмилу Вилькину. Жила она не слишком долго, стихов сочинила не слишком много, зато была усердной переводчицей и вдобавок написала множество любовных писем, ибо любила получать письменные (да еще профессионально написанные) признания в любви, обожала волшеб-

ные игры флирта, а трагическим перипетиям истинной любви предпочитала влюбленность, о чем и сообщала в своем знаменитом стихотворении:

Люблю я не любовь – люблю влюбленность,
Таинственность определенных слов,
Нарочный смех, особый звук шагов,
Стыдливость взоров, страсть и умиленность.

.....
Люблю мгновенно созданный кумир:
Его мгновенье новое разрушит.
Любовь – печаль. Влюбленность – яркий пир.

Огней беспечных разум не потушит.
Любовь как смерть. Влюбленность же как сон.
Тот видит сновиденья, кто влюблен!

Людмила Вилькина (до того, как перешла в православие, – Изабелла, Бела Вилькина, а по мужу Виленкина или Минская) по-настоящему втягивалась в эти свои влюбленности и умела втягивать в них поклонников. А среди последних, как вы без сомненья заметите, были самые прославленные персонажи серебряного века. Так что, пожалуй, не ее стихи о влюбленности и даже не солидные тома стихотворных и прозаических переводов (которые, устаревая, как почти любые переводы, замещаются новыми) обеспечили ей место в литературной истории серебряного века.

Изабелла родилась в Петербурге в семье коллежского асессора Вилькина, женатого на дочери многодетного директора одного из московских банков Афанасия Венгерова. Важно, что с материнской стороны Бела получила литературные интересы и связи. Скажем, ее тетя Зинаида Венгерова была известным историком литературы, литературным критиком и переводчицей. У Зинаиды был вполне прочный роман с поэтом, эссеистом и философом Николаем Минским. Однако когда Минский (ему было уже сорок, или – только сорок, но он успел овдоветь) увидел юную красавицу Белу, его философское спокойствие было нарушено. Разумная Зинаида решила прежде всего порадеть о судьбе племянницы. Она от имени своего любовника-поэта сделала предложения Беле и ничего не потеряла (она вышла замуж за того же Минского в 1925 году, через пять лет после смерти племянницы).

Пока же юная Бела стала женой знаменитого поэта. Впрочем, сердце ее жаждало нового, еще более высокого (и более широкого) признания ее таланта, ума, образованности и, конечно, красоты. Умная тетюшка Зинаида, понаблюдав за ней однажды, отметила в письме к близкой подруге, что Бэла «занята “культом своей красоты” и приискиванием поклонников». Заодно наблюдательная тетюшка отметила, что здоровьице у красавицы оказалось слабенькое, но зато она делает первые опыты в переводе и, похоже, получается у нее неплохо. Начала Бела с переводов из Метерлинка и оставалась верна этому очень модному тогда автору до конца своих дней. Собственно, в этих тетиных наблюдениях отмечены сразу несколько типичных черт женщины серебряного века (хотя бы и такой юной, как эта ее племянница) – самовлюбленность и тщеславие, но зато и страсть к литературе, и знание иностранных языков, и открытость европейской культуре. Господи, сколько они напереводили тогда на русский, эти дамы, влюбленные в европейское и родное слово. Кстати, пристрастие к родному слову в значительной степени определяло их выбор достойного любви (или хотя бы флирта) мужчины. Поклонниками Белы стали такие тогдашние литературные знаменитости, как Константин Бальмонт, Дмитрий Мережковский, Василий Розанов, Сергей Рафа-

лович, художники Лев Бакст, Константин Сомов. И наконец в знатную обойму попал сам Валерий Брюсов.

Кстати сказать, поклонники Белы были не менее наблюдательны, чем ее знаменитая тетушка Зинаида, так что, пройдя через все стадии любовных отношений с Белой (вплоть до самой «опасной»), они тоже не отказали себе в труде сформулировать особенность этой ее «игры в жизнь» (игры вполне типичной для людей того самого века и того самого круга), глубину ее нарциссизма, увлеченности литературной игрой, неудовлетворенности жизнью, ее страхов... «Вы влюблены в себя, – писал ей Мережковский, – и другие люди служат вам только зеркалами, в которых вы на себя любуетесь». Он же отмечал, что Бела хочет быть любимой, не умея любить, что она колдунья, которая «из множества похищенных сердец» варит любовное зелье: «Вы умеете пить вино поцелуев, опьяняясь и все-таки оставаясь трезвою в опьянении».

Наблюдательный Василий Розанов отметил, что Бела «предпочитает больше грезить нежели видеть».

Долгим и пленительно бесплодным был роман Белы с неукротимым женолюбом Бальмонтом. Бела умела остановить его на «роковой» черте и благодарила за «нетребовательную» любовь.

Некоторые претенденты и интересанты довольно быстро, не успев истратить ценного времени, замечали игровой характер Белиных влюбленностей. И все же не сразу, ибо у теще-славной Белы собралась изрядная коллекция любовных писем. Она время от времени знакомила с ними гостей. Узнав об этом, Розанов страшно разозлился и стал рассылать друзьям «оправдательные» письма. Брюсов же переписал в дневник самый пикантный из показанных ему Белою текстов: «Минская показывала мне письма Бакста, где он соблазнял ее: “Для художника не существует одежд, – писал он, – я мысленно вижу вас голой, люблюсь вашим телом, хочу его”».

В Брюсове Бела встретила опытного бойца и все же, сдается, смогла настоять на своей «шаткой» неприкосновенности: взаимное разжигание страсти – пожалуйста, поцелуи до обморока, но не более того... Под впечатлением их совместного побега в Финляндию Брюсов написал стихотворение «Лесная дева», ей посвященное:

Все было смутно шаткому сознанию,
Стволы и шелест, тени и она,
Вся белая, подобная сиянию.

В дневнике Брюсов записал, что они провели несколько часов в запертом номере отеля, но «только целовались», так что роман был, можно считать, платоническим...

Кроме «Лесной девы» отношения Белы и Брюсова обогатили потомков довольно жеманной, вполне в стиле времени, и обильной перепиской (чуть не полторы сотни писем).

Впоследствии Бела тяжело переживала охлаждение Брюсова. Возможно, она предвидела то, что случилось в 1907 году, когда наконец вышла в свет ее единственная книга стихов («Мой сад») и влиятельный Брюсов жестоко изругал этот сборник в печати. Сближение Минского и его жены с Мережковским и Зинаидой Гиппиус, их живое участие в работе Религиозно-философского общества только усилило враждебность Брюсова. Так или иначе, бедному Минскому пришлось немало похлопотать, пока на «Мой сад» появились положительные рецензии (в том числе Андрея Белого) и Бела смогла утешиться.

Американская руссистка Дина Бургин находит в «Моем саду» некие несомненные для нее следы лесбийских пристрастий автора, обычные для лесбийской поэзии обороты речи, отвлеченный образ пассивной возлюбленной, предстающей в виде музейной вазы:

С волнением нежданным пред тобою,
О, бледная подруга, я стою.
Как ты чиста! Влюбленную мечтою
Ловлю мечту прозрачную мою.

Кстати сказать, задолго до американской исследовательницы к подобному же наблюдению пришел поклонник Белы Василий Розанов, написавший в предисловии к этой книжечке: «Удивляюсь, как родители и муж (единственные “законные” обстоятельства в ее жизни) не переселили на чердак или в мезонин эту вечную угрозу своему порядку».

Намеки Розанова показались неубедительными Анненскому, писавшему лишь о нескрываемо лесбийском характере поэзии Софьи Парнок, Зинаиды Гиппиус и Марины Цветаевой. Что касается Людмилы Вилькиной, то даже и без этих весьма невнятно проговоренных лесбийских заклинаний ее «жизнетворчество» и литературные игры, принимаемые ею так близко к сердцу, делают эту красавицу и ее тайный сад (*jardin secret*) типичным порождением серебряного века.

Век красавицы Белы был не слишком долгим. Поэт Николай Минский, похоронив ее в Париже, успел жениться в третий раз и написать новые религиозные трактаты, которые каким-то образом уживались в его творчестве с симпатией к богохульным большевистским трудам Ленина. Еще в Петербурге он открыл газету «Новая жизнь», погоду в которой делал именно Ленин, который сводил в своих статьях счеты со всеми будущими конкурентами в борьбе за власть. Людмила нередко заходила к мужу в редакцию, имела возможность пополнить в свой список побежденных перспективного вождя, но, увы, упустила этот роскошный шанс... Позднее другая дама серебряного века все же добралась до него, и об этом мы, конечно, расскажем.

Еще одна звезда этого века, знаменитая юмористка Тэффи, тоже сотрудничала в «Новой жизни» и впоследствии довольно забавно рассказала про то, как в редакцию набежала какая-то полуграмотная нелегальная шушера и как Ленин изгонял из газеты все, не имеющее отношения к его фракционной борьбе, – в том числе выжил самого Минского, выжил Тэффи, выжил все удобочитаемые репортажи и, конечно, всяческую литературу. «Рабочий класс интересуется только борьба», – говорил хитрый Ленин и, подняв воротник, беззаботно проходил мимо дармоедов-сыщиков, дежуривших у подъезда. А дармоеды делали вид, что не могут его опознать. Это была такая игра, и дармоедам она дорого обошлась...

После революции и бегства Минского на Запад Ленин не остался неблагодарным за петербургскую газетную «крышу» и даже пристроил поэта на работу в советское полпредство в Лондоне. Позднее Минский мирно доживал свои дни с Людмилиной тетей в Париже.

Как отмечал проницательный Айхенвальд, поэт Минский чутко отвечал на новейшие позывы времени, не имея никаких собственных позывов.

Нина-Рената

Большая часть моей московской жизни прошла близ Первой Мещанской улицы, нынешнего проспекта Мира. Возвращаясь пополудни из школы по Мещанке, я не раз провозжал друга Борю до самой Колхозной площади. Вечерами же мы снова гуляли с друзьями взад и вперед по Мещанке, это был наш привычный «бродвей». Я еще и сегодня, несмотря на козни склероза, смог бы худо-бедно провести экскурсию по Мещанке: «Взгляните, господа, в этом новом доме близ Капельского жил шахматный чемпион Ботвинник. На балконе у него всю зиму стоял огромный лавровый венок. В этом же доме обитала подруга сестры красавица Наташа Асмолова, в браке Тендрякова. Рядом жила лихая Майка Розанова-Кругликова, в браке диссидентка М.В. Синявская. Вон там, в сторожке тубдиспансера, ютилась моя тетя-врач, убита на финской. А вот уже и угол Безбожного, в котором полвека спустя жил «арбатский эмигрант» Булат Окуджава. Внимание: на этом вот особняке – мемориальная доска, редкая вещь в нашем районе. Написано, что здесь проживал поэт Валерий Брюсов, член ВКП(б)».

У нас, малолеток, это последнее обстоятельство никакого интереса не вызывало: все родители вступали в члены ВКП(б), оправдывая этот акт карьерными соображениями и необходимостью кормить семью. Стало быть, и поэтам приходилось крутиться.

Украшенный доской дом ложно-готического стиля на советской Мещанке все же нас, школьников, слегка интриговал. Один раз мы с другом Борей набрались храбрости и зашли в подъезд. Какая-то бабка мирно сидела с вязаньем у лестницы. Мы спросили, что тут у них размещается в доме. Она кивнула на лестницу и сказала, что там Жанна Матвеевна живет, а раньше товарищ Брюсов жил, член ВКП(б)...

– Весь дом занимал? – спросил я удивленно.

– А как же?

Мы с бабкой друг друга не поняли: разные поколения. У нас тогда в коммуналке приходилось примерно по три метра на человека. Потом друг Боря как-то мне звонит:

– Хочешь стихи читаю? «О, закрой свои бледные ноги».

– Здорово! Кто написал?

– Член ВКП(б) с Мещанки.

– Не может быть.

– Ты что! У него тут есть замечательные. Про широкий лист банана... И Боря целый час читал по телефону стихи.

Лист широкий, лист банана,
На журчащей Годавери,
Тихим утром – рано, рано —
Помоги любви и вере!
Орхидеи и мимозы
Унося по сонным волнам,
Осуши надеждой слезы,
Сохрани венок мой полным.

.....
По журчащей Годавери
Я пойду, верна печали,
И к безумной баядере
Снизойдет богиня Кали!

И дальше все в том же духе.

Повесив трубку, я все думал про этого члена ВКП(б). Вот уж кто, наверно, на бледные ноги нагледелся! Честно сказать, я в том возрасте очень интересовался чужими ногами. Это сейчас я все о своих беспокоюсь. Но зато теперь я много сижу за столом и сведения о бледных ногах серебряного века могу исследовать подробнее. Хотя бы по линии того же Брюсова. Богатейший материал.

Наибольшей в этом смысле известностью пользуется среди поклонников серебряного века Нина Петровская. Во-первых, ей Брюсов посвятил много стихов и вывел ее в образе Ренаты в романе «Огненный ангел». А во-вторых, Ходасевич, который был с Ниной знаком, посвятил ей мемуарный очерк «Конец Ренаты», открывавший его книгу «Некрополь».

Нина Петровская, которая, подобно многим женщинам и мужчинам в художественных кругах серебряного века не обладала сколько-нибудь впечатляющими литературными способностями, пыталась создать возвышенную «поэму из своей жизни», отчаянно и вдохновенно предавалась «жизнетворчеству». Закончив гимназию и даже какую-то зубную школу, она не захотела прозябать в уже тогда весьма завидной профессии зубного техника (если помните, многоопытный О.И. Бендер особо выделял среди своих бывших невест именно зубного техника). Нина пожелала стать писательницей и сочинила не то один, не то два небольших рассказа, в связи с чем попала в литературную компанию и решила «жить в литературе». Она была молода, белозуба, начитанна и неглупа, умела вести разговор на том странном жаргоне, который через десяток-другой лет казался малопонятным даже и вышедшему из этой среды Ходасевичу, а сегодня и вовсе отдает заумной жеманностью. В среде нестарых еще литераторов-символистов молоденькая сообщница стала пользоваться успехом и вскоре даже вышла замуж за поэта, печатавшего стихи под псевдонимом Кречетов и даже имевшего собственное издательство.

Издательство называлось «Гриф», да и фамилия поэта была Соколов. В общем Нина оказалась почти на высотах символизма, однако беспокойное сердце тянуло еще выше. Тогда-то она и встретила поэта Андрея Белого. Он был молод, хорош собой, румян, кудряв, белокур. В него все были влюблены, особенно пылко члены кружка «аргонавтов», поклонников и последователей философии Владимира Соловьева. В кружке этом все пеклись о чистоте риз Белого. Мир представлял этим людям как противоборство возвышенного, «сверхчувственного» начала и начала низкого, «астартического», чувственного. Андрей Белый олицетворял возвышенное и уклонялся от низменного. Нина влюбилась в Белого, и он предложил ей «братскую» любовь, мистерию возвышенной любви. Она была вполне зрелой женщиной из плоти и крови, так что ей хотелось чего-то более осязаемого. В конце концов игра в любовь завела их самым естественным образом на ложе греха, и Белый ужаснулся.

Ужаснулся не тому, что она была замужем за «Грифом», а тому, что произошло грехопадение. Он ведь ждал слияния с «Женой, облаченной в Солнце» (так они исступленно именovali жену Блока госпожу Л.Д. Блок-Менделееву), однако совершил с Ниной нечто ужасное, чего не мог себе позволить с другой замужней женщиной, а только с Женой. При этом он даже не был влюблен в Нину. Это была катастрофа, и Белый писал об этом вполне трагически: «произошло падение... вместо грез о мистерии братства и сестринства оказался просто роман. Я был в недоумении, более того – я был ошеломлен; не могу сказать, чтобы Нина мне не нравилась; я ее любил братски, но глубокой, истинной любви к ней не чувствовал; мне было ясно, что все происшедшее между нами – есть с моей стороны дань чувственности. Вот почему роман с Н.И. [она была, пардон, Ивановна. – Б.Н.] я рассматривал как падение и старался пояснить Н.И., что между нами Христос. Она соглашалась и потом вдруг – “так”»...

Бедная Нина! На что она должна была соглашаться? Вдобавок безошибочным женским чутьем она разгадала его тайну. Угадала, что он влюблен в жену Блока Любовь Дмитриевну Менделееву, превозносимую в их кружке аргонавтов как воплощение всех добродетелей.

Бедная Любовь Дмитриевна была невинной жертвой этого культа и еще многого другого. Как она искренне рассказала, вовсе не для того она выходила за своего любимого Сашу Блока, чтобы ей курили фимиам и чтобы спать ложиться одной. Вот как она писала позднее о своем былом замужестве:

Конечно, не муж и не жена! О, Господи! Какой он муж и какая уж это была жена! В этом отношении прав был А. Белый, который разрывался от отчаянья, находя в наших отношениях с Сашей «ложь»... Он [Блок. – *Б.Н.*]... принялся теоретизировать о том, что нам не надо физической близости, что это «астартизм», «темное» и Бог знает еще что. Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот еще не ведомый мне мир, что я хочу его – опять теории: такие отношения не могут быть длительны, все равно он неизбежно уйдет от меня к другим. А я! «И ты тоже». Это меня приводило в отчаянье!.. Молодость все же бросала иногда друг к другу живших рядом. В один из таких вечеров, неожиданно для Саши и «со злым умыслом» моим, произошло то, что должно было произойти, – это уже осенью 1904 года [через два года после заключения брака. – *Б.Н.*]. С тех пор установились редкие, и краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана, и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 и это немного прекратилось.

Увы, это был в ту серебряную пору греха не единственный случай, когда стремление к «мистерии», к чистоте и возвышенности отношений толкало этих утонченных эстетов и подвижников ко всем их мучительным странностям? Похоже, что автор «Некрополя» В.Ф. Ходасевич, уже переживший ко времени написания книги все мытарства своего третьего брака (с ненадежной Н.Н. Берберовой), все же согласен был винить во всем лишь ложные убеждения и причуды века: «О, если бы в те времена могли любить просто, во имя того, кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить во имя какой-нибудь отвлеченности...»

И между тем, о странных любовных пристрастиях Блока знали, без сомнения, самые близкие из его друзей. Что же до Андрея Белого, то история его злоключений не кончилось ни после разрыва с Ниной, ни после разрыва с Женой друга. В 1910 году он сошелся с легендарной Асей Тургеневой, в марте 1913-го записал в своем дневнике: «Ася объявила мне, что в антропософии она окончательно осознала свой путь, что ей трудно быть моей женой, что мы отныне будем лишь братом и сестрой. С грустью я подчиняюсь решению Аси».

Белый вступил в гражданский брак с художницей Асей Тургеневой за границей, в Берне, но она больше не вернулась в Россию: так и осталась в Дорнахе строить теософский храм, в результате чего пережила Белого лет на тридцать.

Если Андрей Белый с грустью и смирением принял решение жены, то Нина Петровская вовсе не готова была оставаться ему только сестрой. Да и что это вообще за неиссякаемое «сестринство»? Ведь почти каждую женщину, которая ему нравилась, Белый называл то нежной сестрой, то даже матерью. В редких случаях «родственным осколком» планеты-матери. Читатели замечали, что подобное происходило и с героями произведений Белого (скажем, с героем «Серебряного голубя»). Иные с неизбежностью ощущали во всем этом едва приглушенный привкус инцеста...

В былые годы, работая над книгой о В.А. Жуковском, я не раз спрашивал своего деревенского соседа-психоаналитика, с которым мы добирались в его машине в Париж, что он думает о моем русском герое: отчего скромнейший Василий Андреевич влюблялся только в малолетних племянниц и лишь под шестьдесят выбрал себе жену (конечно, почти малолетку). Пьер считал, что, даже судя по моим рассказам, у великого поэта был некий возраст-

ной сдвиг в детстве: старая мачеха, которую он звал мамой, молодая мамочка, старые сестры плюс его одноклассники-племянницы... «Канонический случай», – авторитетно объяснял мне Пьер.

Читая позднее о жизни Андрея Белого, я невольно обратил внимание на его влюбленность в матушку, которая была на двадцать лет моложе отца и казалась ему ровесницей, сестренкой, красавицей, отметил его тоску по сестричкам, которых у него не было. Да ведь он и сам сообщал вполне простодушно: «Мой отец скорее мог быть мне дедом, а мать мою позднее не раз считали старшей моей сестрой». Может быть, Нину Петровскую не успокоили бы все эти психоаналитические байки. Она не согласилась быть своему любовнику ни сестрой, ни даже матерью и затаила в душе обиду. После ее разрыва с Белым великий Брюсов, который давно положил глаз на молодую авторшу, стал вовлекать ее в разговоры о коварном Андрее, с которым у него и самого были далеко не простые отношения. Ревнуя к таланту и огромной популярности Белого, Брюсов испытывал к нему чувство, которое сам он назвал «враждой-любовью». Они часто встречались и вели разговоры, похожие на поединки. При этом Брюсов горячо и довольно убедительно отстаивал правоту и главенство «темных сил». Ему вообще льстило всеобщая вера в его «демонизм». Иные события жизни и деятельности вождя русских символистов, пожалуй, оправдывали эту «демоническую» репутацию, да Брюсов, похоже, и сам усердно подыгрывал в этом судьбе. Известно, что он занимается черной магией и спиритизмом. Насколько это все было серьезно, не берусь судить. Может, Мастер лишь находил в этом подспорье в мучительном литературном процессе. Именно так объясняет все это брюсовское волхование В. Ходасевич: мол, «не веруя, вероятно, во все это по существу», Брюсов верил «в жест, выразивший определенное душевное движение».

Зато Нина Петровская, мечтавшая о мщении Андрею Белому (и попутно оказавшаяся в постели его врага Брюсова) всю эту магию воспринимала всерьез. По мнению Ходасевича, «она переживала это, как подлинный союз с дьяволом» и «хотела верить в свое ведовство».

Какую роль играл в этой истории (да и в некоторых других, которые вы найдете в нашей книге) элемент психического расстройства или просто отклонения от нормы, сказать так же непросто, как и дать надежное определение «нормы». Напомню, что доктор Фрейд занимался лечением истерии, а близко знакомый с Ниной В. Ходасевич называет ее истеричкой:

Она была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова: из новейших научных источников (он всегда уважал науку) он, ведь, знал, что в «великий век ведовства» ведьмами почитались и сами себя почитали – истерички. Если ведьмы XVI столетия «в свете науки» оказались истеричками, то в XX веке Брюсову стоило превратить истеричку в ведьму.

Тут у Ходасевича все не случайно – и его иронические кавычки, и ссылка на XVI век. С некоторыми кавычками и сомнениями предоставим разбираться тем, кто не верят ни в ведовство, ни во Фрейда, ни в «свет науки», но ссылка на XVI век требует некоторых объяснений.

Дело в том, что после поездки в Кельн в 1905 году у Брюсова родилась идея романа из германской истории XVI века. Брюсов, как известно, был энциклопедически образован и фантастически трудолюбив, чего не отрицают даже те скептики, кто весьма скромно оценивают масштаб его поэтического таланта. Так вот для придания жизни и достоверности своему историческому роману Брюсов решил положить в основу его интриги ту самую, что разыгрывались в начале XX века в Москве близ моего отчего дома. Работая над новым произведением, Брюсов подолгу спорил с прототипом своего романного графа Генриха (Андреем Белым), интимно беседовал в постели с главной его героиней Ренатой (Ниней Петровской), красуясь при этом в роли главного героя, которого он назвал Рупрехтом. Речь идет о романе «Огненный ангел».

Как и многие героини серебряного века, Нина строила свою жизнь по высоким образцам литературы, и сейчас в ее «жизнестроении» наступил важный, я бы сказал, решающий момент. Время превращения в героиню великого романа, написанного великим мэтром символизма. Еще неясно было, как сможет она потом выйти из романной роли, но Нина и не собиралась из нее выходить. Напротив, она с годами входила в эту роль все глубже. Прожив так пять лет, она перешла в католическую веру и приняла имя Рената. В тот день она простерлась на каменном полу Кельнского собора... Впрочем, до прихода этого дня произошло немало событий в ее реальной жизни.

Закончив сочинение романа, Брюсов потерял всякий интерес к прототипу. Вились вокруг него и другие женщины, не менее привлекательные, нетерпеливо ждущие своей очереди. Недоброжелательные мемуаристы пишут, что Брюсов не различал их лиц. Не то чтоб они были на одно лицо, но ему не всегда хотелось вникать в их внутренний мир и переживания. Все они были для него просто «жрицы любви» во храме литературы. Или во храме великого Брюсова.

А Нина, между тем, становилась все навязчивей, все настойчивей. Она не сразу поняла, что ее снова гонят прочь. С каждым встречным и поперечным она желала обсудить эти странные перемены. В «Гриффе», принадлежавшем ее мужу Кречетову, она напечатала рассказ, предавший гласности интимные отношения Нины с Белым и Брюсовым. Потом выпустила там же сборник рассказиков (надо признать, весьма вычурных). Муж, между прочим, находился всегда рядом, существуя в том же тесном мирке, как, впрочем, и законная жена Валерия Брюсова Жанна (она же Иоанна) Матвеевна Брюсова, урожденная Рунт, бывшая гувернантка в семье Брюсовых, поддержка и опора гения символизма в его суматошной судьбе. Мэтр всегда мог найти в ней опору, прислониться к ней и развязать себе руки для новых шалостей, однако Рената-Нина не унималась, она никак не могла примириться с тем, что все течет, и притом довольно стремительно...

Тщетно пытаюсь наставить ее на ум, красноречивый вождь символизма в стихах и прозе рассуждал о прелестях женского самоубийства. Все было втуне... Тогда демонический наставник сделал истеричной даме дорогой и многозначительный подарок. Он подарил ей пистолет. Он даже сам проверил его и убедился, что смертоносное оружие работает безотказно.

Вооруженная страшным подарком Нина явилась на лекцию Андрея Белого в Политехническом музее. Брюсов в нескольких письмах рассказывал, как Нина подошла к нему во время лекции и выстрелила ему в грудь. Но пистолет дал осечку и был изъят у террористки многочисленными свидетелями. Несмотря на обилие очевидцев, история эта двоятся в глазах. Ходасевич пишет, что Нина стреляла в Андрея Белого во время перерыва в лекции. Пистолет дал осечку, был у нее отобран и возвращен Брюсову. Но сам Брюсов дважды пишет, что она стреляла именно в него, причем дважды, оба раза осечка. И снова пистолет возвращают дарителю, который продолжает ходить (и дарить) на свободе...

К пистолету у нас еще будет случай вернуться. А пока вернемся к Нине. Бедная женщина пыталась забыться. Странствовала где-то с молодым поэтом-красавчиком Сергеем Ауслендером, вездесущим племянником Михаила Кузмина (в годы моей московской молодости он еще сочинял в сталинской Москве песни о колхозах). Ауслендер и странствия не помогли Нине Ивановне забыться. Жить спокойно в одной стране с предателем и гением казалось невозможным. Нину удалось отправить за границу (партия, упомянутая на мемориальной доске брюсовского дома, еще не захватила тогда власть, и российская граница не была «на замке»).

Ходасевич пришел на вокзал проводить Нину в вечное изгнание. Он увидел, что они сидят с Брюсовым в купе международного вагона и драматически пьют коньяк, любимый напиток символистов.

При описании этой мирной картины трагического «прощанья навек» не лишне уточнить, что и будущий член ВКП(б) Брюсов, и его пламенная Рената регулярно кололись морфием. Кто из двоих кого посадил на иглу, биографы установить не берутся, но это никак не меняет того факта, что они до конца жизни оставались морфинистами. Нина прожила на четыре года дольше, чем Брюсов, но этим ее годам трудно позавидовать. Переезжая из одной европейской страны в другую, она окончательно опустила, обнищала, похоронила близких. Голодала, горбила посудомойкой и снова и снова кололась... Покончила она с собой в 1928 году.

Ходасевич сообщает, что в дневнике Блока 6 ноября 1911 года появилась странная запись: «Нина Ивановна Петровская “умирает”». Блок, отмечает далее Ходасевич, употребил здесь кавычки, «потому что отнесся к этому известию с ироническим недоверием. Ему известно было, что еще с 1906 года Нина Петровская постоянно обещала умереть, покончить с собой...»

Она выполнила это обещание лишь 22 года спустя, но и Брюсов, и «Гриф» избавились от нее еще в 1911-м. Тогда-то в брюсовском особняке на Первой Мещанской замаячили новые женские силуэты...

Надя и Аделина

Надя Львова родилась в подмосковном Подольске в семье мелкого чиновника. Закончила гимназию, училась в Москве на Высших курсах Полторацкой, была девушкой милой, скромной, тихой, но вполне современной и, как выяснилось, с гимназических лет состояла в подпольной группе социалистов. Если верить лукавым мемуарам Ильи Эренбурга, примыкала той же самой банде, к какой и сам чудом выживший Эренбург, а также будущие недолговечные правители вроде самого Бухарина и Сокольников. Как будто была даже арестована однажды, но выдана престарелому отцу на поруки... Однако разве уследить родителям за юными, полными сил существами, мечтающими о немедленном кровавом потрясении, о катастрофе революции. Кроме революции, томятся сердца юных девушек, как отметил поэт-песенник, по «ласковой песне и хорошей, большой любви».

Многие (если не все) русские девушки выражают это томление в рифмованных строчках. Одни скромно прячут написанное в коробку с сувенирами, но иные несут прямо в редакцию. Наденька Львова, «милая девушка, скромная, с наивными глазами и с гладко зачесанными назад волосами» (сохранившиеся фотографии не противоречат этому позднему описанию Эренбурга) отнесла свои стихи в газету «Русская мысль». Может, просто хотела поделиться с читателем своими девичьими мечтами, а может, вдобавок мечтала о поэтической славе. На ее беду, стихи были напечатаны. А в начале 1912 года ее представили самому Валерию Брюсову, красивому мужчине, повелителю самой что ни на есть современной поэзии и вдобавок то ли магу, то ли демону.

Не красавица, но такая молоденькая! Сколько ей? Двадцать или двадцать один? Марина Цветаева выступала как-то с ней вместе на эстраде с чтением и позднее вспоминала: «Невысокого роста, в синем, скромном, черно-глазо-бело-головая, яркий румянец, очень курсистка, очень девушка».

Ее роман с Брюсовым развивался довольно быстро, хотя до традиционной поездки на курорт Финляндии оставалось еще время. За это время по уши влюбленная Наденька написала много стихов о любви, и почти все они были напечатаны ее всемогущим возлюбленным в курируемой им вольной русской прессе:

К тебе, Любовь! Сон дорассветной Евы,
Мадонны взор над хаосом обличий
И нежный лик во мглу ушедшей девы,
Невесты невестной – Беатриче.

Любовь! Любовь! Над бредом жизни черным
Ты носишься кумиром необорным,
Ты всем поешь священный гимн восторга.

Но свист бича? Но дикий грохот торго?
Но искаженные, разнузданные лица?..
О, кто же ты – святая иль блудница?

Последний этот вопрос вставал время от времени и перед ней, потому что Брюсов был мужчина решительный, хотя и женатый, а Наденьке было только двадцать, и он был у нее первый. Но подумать, какая к ней пришла таинственная любовь, какая удача, какая слава! Вот уже и книга ее готовится к печати. Что там книга, крошечная книжонка, но какое это громадное событие для молодого поэта – первая книга! А Наденька наша получила личный

доступ к самому что ни на есть вершителю судеб русской поэзии и, конечно, влюбилась в него безоглядно. Да и он разогрелся, увлекся, однако всего себя и всего своего времени ей уделять не мог. Был и женат, и женолюб, и писал, и перегружен был оргработой, и вообще, как ныне говорят, «востребован». Не одной ей хотелось держаться к нему поближе, и она это скоро почувствовала. Что ее сильно мучило. Иногда и вовсе становилось невмоготу:

Я странно устала. Довольно! Довольно!
Безвестная близится даль.
И сердцу не страшно. И сердцу не больно.
И ближнего счастья – не жаль.

Уже осенью, через несколько месяцев после сближения, она написала возлюбленному: «Хочу быть первой и единственной. А вы хотели, чтобы я была одной из многих? Вы экспериментировали со мной, рассчитывали каждый шаг. Вы совсем не хотите видеть, что перед Вами не женщина, для которой любовь – спорт, а девочка, для которой она все...»

Но ему и не надо было ничего объяснять. Он все знал. Но от игры своей отказаться не мог, да и верную Жанну Матвеевну не мог оставлять всякий раз, для каждого победоносного эксперимента. Он и Наде заранее намекал, что все преходяще, что все мы из праха вышли, туда и войдем. Однако она надеялась на чудо и обыгрывала в новых стихах его прославленную строку «Радостно крикну из праха: “Я твой!”»:

Ты помнишь, ты помнишь, как в годах и днях
Меня лишь искал ты в огнях и тенях.

И, еле завидев, ты крикнул: «Моя!»
На зов твой ударом ответила я.

И миг нашей встречи стал мигом борьбы,
Мы приняли вызов незрячей Судьбы.

И вот ты повержен, недвижим и нем...
Но так не расколот мой щит и мой шлем.

Ты радостно шепчешь из праха: «Я твой!»
Но смерть за моею стоит головой.

Заветное имя лепечут уста.
Даль неба, как первая ласка, чиста.

А я, умирая, одно сознаю:
Мы вместе! Мы вместе! Очнемся в раю.

Но Валерий Яковлевич не спешил в рай. В июле 1913 года он вывез Наденьку, свою Нелли (как он ее звал), на финский курорт. Для Надиной короткой любви это путешествие с мэтром оказалось вершиной романа. Теперь предстоял спуск. Они еще виделись с Брюсовым, однако она чувствовала, что он уже тяготится их слишком близкой связью, экономит время. После выхода ее первой книжки он сделал ей еще один царственный подарок: выпустил со своим предисловием книжечку «Стихи Нелли». Заглавие было двусмысленным. То ли некая Нелли, как и сама Надя, тяготеющая к поэтике Брюсова, написала эти 28 стихов, то

ли стихи были написаны для Нелли (а люди, близкие к его кругу, знали, кого он так называл). Критика накинута на загадочные тексты, предваряемые статьей мэтра. Гумилев упрекнул стихи в неясности главной мысли. Ходасевич в своей рецензии пытался угадать имя автора. Он нашел в этих якобы женских текстах мужскую законченность форм и твердость, увидел здесь типично брюсовский стих с его чеканкой. Попутно он отметил, что стихи эти и стройнее и глубже продуманы, чем стихи Львовой, но зато уступают как стихам Львовой, так и стихам Ахматовой в самостоятельности. Гумилев высказал предположение, что Нелли – это муляж, фантом, и процитировал одно четверостишие:

Детских плеч твоих дрожанье,
Детских глаз недоуменье,
Миги встреч, часы свиданья,
Долгий час – как век томленья.

Отметив бесспорное дарование таинственной поэтессы, Ходасевич написал, что это не хуже Брюсова. Подала голос и Наденька Львова, написав, что неведомая поэтесса близко подходит к футуризму как к поэзии современности. Заметка Львовой раскрыла ее собственные новые симпатии.

Серьезные исследователи отметили в стихах таинственного сборника и некие отзвуки нового любовного увлечения Брюсова, его романа с Еленой Сырейщиковой. Для влюбленной же Нади Львовой наступила суровая осень, грозящая разлукой с любовью, а может, и с жизнью:

Мне хочется плакать под плач оркестра.
Печален и строг мой профиль.
Я ныне чья-то траурная невеста...
Возьмите, я не буду пить кофе.

Мы празднуем мою близкую смерть.
Факелом вспыхнула на шляпке эгретка.
Вы улыбнетесь... О, случайный! Поверьте,
Я – только поэтка.

Слышите, как шагает по столикам Ночь?..
Ее или Ваши на губах поцелуи?
Запахом дышат сладко-порочным
Над нами склоненные туи.

Радужные брызги хрусталя —
Осколки моего недавнего бреда.
Скрипка застыла на жалобном *la*...
Нет и не будет рассвета!

Беспокойство Нади, ее требования раздражали мэтра, утомленного чрезмерными трудами, новыми женскими ласками и новыми дозами морфия. Но он был несгибаемый борец, демонический победитель. И он принял меры: преподнес надоевшей ему девочке тот самый пистолет, который уже дарил однажды без заметных кровопролитий, ибо тот «давал осечку». Брюсов проверил и убедился, что пистолет работает исправно.

И вот в один из безысходных ноябрьских вечеров 1913 года Надя позвонила Брюсову из своей комнатки в Константинопольском подворье и сказала, что хочет видеть его безотлагательно. Что иначе она покончит жизнь самоубийством. Брюсов сказал, что очень занят. Верил ли он, что она выполнит угрозу? Может, все же надеялся... В ту ночь она застрелилась из его исправного пистолета.

По просьбе четы Брюсовых Ходасевич попробовал уговорить газетчиков не делать шума. Конечно, сведения о трагедии на подворье просочились в прессу. Брюсов, посетив умирающую Надю, уже безмолвную, надолго уехал в санаторий под Ригой. На ее похоронах он не присутствовал. Похороны описал Ходасевич в своем «Некрополе»:

Надю хоронили на бедном Миусском кладбище, в холодный, метельный день. Народу собралось много. У открытой могилы рука об руку стояли родители Нади... старые, маленькие, коренастые, он – в поношенной шинели с зелеными кантами, она в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускною бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, все видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали...

Брюсов так никогда и не навестил Надину могилку, место которой давно потеряно. В ту последнюю предвоенную осень у маэстро были новые, курортные уже увлечения, а также мелкие послекурортные неприятности. Он должен был выступить на очередном заседании общества «Свободная Эстетика», и «вся художественная Москва», осведомленная о его причастности к ноябрьской трагедии, хотела увидеть, как поведет себя великий мэтр и что он скажет в свое оправдание. Но мэтр и не думал оправдываться. Присутствовавший на том памятном заседании общества В.Ходасевич вспоминал позднее, что первое прочитанное Брюсовым стихотворение было «вариацией на тему

Мертвый в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий.

А каждая строфа начиналась словами: “Умершим – мир!”. Прислушав строфы две, я встал из-за стола и пошел к дверям... На меня зашикали...»

Сам Ходасевич довольно скромно оценивал дарование Нади Львовой, но, когда Ахматова попыталась с высоты ее тогдашнего успеха снисходительно-надменно пожалеть бедную девочку («Ее стихи такие неумелые и трогательные... Им просто веришь, как человеку, который плачет»), возмущенно потребовал рассматривать единственную книгу Надежды Львовой «не как человеческий документ, но лишь как создание поэта».

Много лет, много дней и несчитанное множество строк утекло с тех предвоенных лет. И надо ли удивляться, что старые строки звучат для новых поколений по-новому. Чуть не полвека спустя после Надиной гибели очень модный в 60-годы XX века Е. Евтушенко написал, что «по ранимости и распахнутости, по бешенству чувств Надежда Львова предсказывала будущую Марину Цветаеву».

Воспоминание о трагедии Нади Львовой долго мучило В. Ходасевича. При этом он не сомневался, что совесть мучила и Брюсова, что он не мог забыть о своем преступлении (именно так!) и несомненно покончил с собой десять лет спустя (рассказ Ходасевича «Заговорщики»). Гипотеза эта не слишком согласуется с тем, что сам Ходасевич написал в своей книге о Брюсове. С тем, что, если Брюсов и чтит любовь, то «любовниц своих он не заме-

чал», да и вообще любил лишь самого себя («не люби, не сочувствуй, сам лишь себя обожай беспредельно») да свое искусство («поклоняйся искусству, только ему, безраздельно, бесцельно»).

Еще определеннее высказалась о причине женских драм вокруг Брюсова Марина Цветаева: «Было у Брюсова все: и чары, и воля, и страстная речь, одного не было – любви... Брюсов греховен насквозь... К Брюсову, как ни к кому другому, пристало слово “блудник”. Унылое и безысходное, как вой волка на дороге... И не чаро-дей он, а блудодей».

Так что сомнительно, чтобы Брюсов терзал себя воспоминанием о своем преступлении и грехе. Он был вполне «воинствующий безбожник». В ту же осень появились у него и новые любовные увлечения, новые литературные и политические хлопоты. Сперва он пылко поддерживал русскую монархию, потом русскую революцию и Временное правительство, а чуть позднее ту власть, которая показалась ему более или менее постоянной. В 1920-м он вступил в ВКП(б) и стал называть свою последнюю молодую возлюбленную «товарищ» («товарищ Адалис»).

Цветаева считает, что, переходя на службу к большевикам, Брюсов никого «не продал и не предал», что он был просто создан такой жизни – для заседаний, администрирования, воспевания труда («владыкой мира будет труд»). Думаю, что Марина Ивановна преувеличивала карьерные данные Брюсова и недооценивала трудности, с которыми тот сталкивался при новой власти. У него была не слишком хорошая анкета, и ему так и не доверили очень высоких постов. Вдобавок кругом были евреи, а он был антисемит. Как тут выжить?

Цветаева-то считала, что Брюсов вовсе не был русским или был в меньшей степени русским, чем Мандельштам. Она писала об этом так: «Мандельштам, например, не только русский, но определенный российской поэтической традицией – поэт. Державиным я его в 1916 году окрестила первая. И тот же Брюсов, купеческий сын, москвич, из Москвы, ни России ни краем не отразивший. Национальность не ничто, но не все».

Не уверен, что большевистские комиссары по национальностям разделяли литературные взгляды Цветаевой.

Последнюю молоденькой возлюбленной Брюсова была Аделина Адалис. Вот как вспоминала о ней та же Цветаева: «У Адалис же лицо было светлое, рассмотрела белым днем в светлейшей светелке во Дворце искусств... Чудесный лоб, чудные глаза, весь верх из света... И стихи хорошие, совсем не брюсовские, скорее мандельштамовские, явно-петербургские...»

В те юные годы, когда я проходил по Первой Мещанке мимо дома Брюсова, а потом долго жил напротив этого дома, я очень любил стихи таджикского поэта Мирзо Турсун-заде об Индии. К тому времени, когда я стал приезжать в Таджикистан и встречать живого Турсун-заде, мне уже стало известно, что эти прекрасные русские стихи, за которые Мирзо Турсунович получил высшую тогдашнюю премию (Сталинскую), написала искусница Аделина Адалис. Говорили, что Мирзо Турсуновичу пришлось по случаю премии худо-бедно перевести их на таджикский... Но и это уже было давно. Все забыто...

Впрочем, остался отчего-то в памяти поколений устроенный Брюсовым в Москве поэтический вечер девяти русских поэтесс, на котором Цветаева и Аделина Адалис читали вполне неженские стихи, а мэтр Брюсов снисходительно объяснял оголодавшей московской публике, что женщины – они что, им бы все про Любовь сочинять...

Зинаида

Перечисляя главных поклонников жены Николая Минского красивой Людмилы, я назвал в их числе знаменитого писателя-эрудита Дмитрия Мережковского. Пришло время назвать и громкое имя его жены, той, что была едва ли не самой блистательной женщиной серебряного века. Кстати, и упомянутый мной Николай Минский был влюблен некогда в эту странную, загадочную женщину и только потом, с боями уступил место в ее сердце другому петербургскому властителю умов, искусствоведу Акиму Волынскому. Оба эти топонимические псевдонима (Минский, Волынский) наведут самых догадливых из читателей на мысль о черте оседлости и подлинных польско-еврейских фамилиях этих двух почитателей жены Мережковского. И не зря наведут: Минский был по рождению Виленкиным (кто ж не знает, что Вильна была истинным восточно-европейским Иерусалимом), а Волынский – Флексером. Надо сказать, что национальная принадлежность двух блестящих петербургских интеллектуалов не смущала утонченную супругу Мережковского (как смутила бы антисемита Брюсова или, скажем, Александра Бенуа, в чьих жилах, кстати, было не так уж много капель славянской крови). Отец Зинаиды Гиппиус был выходцем из немецкой семьи, покинувшей Мекленбург ради Московии еще в XVI веке, а Зинаида не только сберегла, но и прославила в истории российской словесности немецкую фамилию предков. Теперь вы, наверно, осознали, что речь у нас пойдет о «зеленоглазой наяде» (как называл ее Александр Блок), о «декадентской мадонне» и «ботичеллиевской красавице», осветившей символистские сборища загадочной «улыбкой Джоконды»...

Вот как описывал ее внешность восторженный эстет серебряного века, хорошо ее знавший, редактор журнала «Аполлон» Сергей Маковский:

«Какой обольстительный подросток!» – думалось при первом на нее взгляде. Маленькая, гордо вздернутая головка, удлиненные серо-зеленые глаза, слегка прищуренные, яркий чувственно очерченный рот с поднятыми уголками и вся на редкость пропорциональная фигурка делали ее похожей на андрогина с холста Соддомы. Вдобавок густые, нежно вьющиеся бронзово-рыжеватые волосы она заплетала в длинную косу – в знак своей девичьей нетронутости (несмотря на десятилетний брак)... Подробность, стоящая многого! Только ей могло прийти в голову это нескромное щегольство супружеской жизни (сложившейся для нее так необычно).

Собственный ее муж Мережковский, который прожил с ней «52 года, ни на день не разлучаясь», назвал ее не больше и не меньше как «белой дьяволицей». Что же до нынешнего кумира западной левой интеллигенции Льва Троцкого, то он совсем не по-марксистски обозвал ее «сатанисткой»...

При этом все признавали, что речь идет о «самой умной женщине» тогдашнего Петербурга-Петрограда. У многих, впрочем, язык произвольно спотыкался на слове «женщина». Она ведь и сама бесконечно рассуждала о поединке женского и мужского в своем характере и даже в своей внешности. Знаменитый бакстовский портрет этого загадочного существа с неизбежностью заставлял задуматься о границах пола, да и многие из ее знакомцев писали о ее сходстве с прелестным подростком, о несравненной элегантности ее мужских костюмов.

Не без помощи столь многочисленных и откровенных (хотя и не до конца) подсказок Зинаиды Гиппиус всплывало из подвалов мифологической памяти читателя это странное и загадочное слово – андрогин. Так или иначе, разговора об андрогинности не избежать в очерке об этой едва ли не главной женщине символизма и серебряного века, но начать,

видимо, следует с самого рожденья Зинаиды в городке Белеве Тульской губернии, где в то время служил ее отец Николай Гиппиус. Он был юрист и сделал славную карьеру, дослужившись в столице до обер-прокурора, но тут грудная слабость (бич века, туберкулез) погнал всю семью на юг: из гнилого Петербурга в ласковый украинский Нежин. Матушка Зины, рожденная Степанова, была тоже не из простых: отец ее служил полицмейстером Оренбурга. Маленькая Зина чуть не с четырех лет задавала взрослые вопросы, а в одиннадцать уже сочиняла стихи и вела переписку со взрослыми отцовскими друзьями, один из которых (почтенный старик-генерал) пророчил малышке литературное будущее. Ни тепло Украины, ни даже Крым не спасли отца от чахотки. Похоронив его, мать увезла семью к состоятельному брату в Тифлис. В 1888 году девятнадцатилетняя Зинаида приехала из Тифлиса в Боржом и там встретила путешествующего петербургского поэта-интеллектуала Дмитрия Мережковского, уже успевшего выпустить в столице первую книгу стихов. Встреча эта произвела на нее большое впечатление. На него тоже: он был поражен совпадением их мыслей, интересов и устремлений. Понятно, когда девушка так молода и хороша собой, не грех и несколько преувеличить ее одаренность. Впрочем, насколько нам известно, он до смерти нисколько не сожалел о столь поспешном выборе невесты. И все же нет оснований умиляться прочности этого столь долгого брака, устоявшего в бурном водовороте серебряного века, ибо это был, увы, не тот союз, о каком мы с вами могли бы мечтать и для себя и для своих детей...

Вряд ли можно предположить, что Зинаида влюбилась в него с первого взгляда. Однако после первого же их разговора решила, что она выйдет за него замуж. Имел ли при этом место тот или иной «расчет»? Возможно: тот самый расчет, что так органично сопровождает любую самую горячую симпатию и влюбленность. При надобности можете облагородить его любым эпитетом, сказав, к примеру, что имел место «благородный расчет» и профессиональный интерес. Зина уже много лет писала стихи, и вдруг на ее пути оказался настоящий, живой поэт, из самого что ни на есть Петербурга. Конечно, он показался ей существом из другого, зовущего, нездешнего мира. Выходя за него замуж, она тоже становилась существом этого мира.

Возможно, ей еще не хотелось броситься ему на шею, но он этого, кажется, и не требовал. Получив согласие на брак, он спокойно проводил ее на дачу и ушел в свою гостиницу. За это она испытала к нему еще более теплые чувства. Во всяком случае, ей захотелось подставить Мережковскому дружеское плечо, заслонить от врагов, возможно ему угрожавших. Захотелось, чтобы он оперся на ее крепкую руку... В старости, после смерти мужа, Зинаида показала молодой Тэффи на прогулке, какая у нее была сильная рука – та, на которую он всю жизнь опирался.

В оправдание этого прохладного замужества позволю себе высказать предположение, что даже в самых казалось бы романтически нерасчетливых браках может обнаружиться некий свой расчет и резон. Например, простейшее ощущение, что уже пора замуж. Подобное чувство могло родиться и у Зиночки: богатый тифлиссский дядя помер, и матушке в одиночку было не поднять всех детей.

Согласитесь, что предбрачные расчеты и резоны бывают еще круче. Легко ли, например, взрослеющей дочери уживаться в одном доме с властной матерью, когда так хочется и свободы, и собственного дома?

Были, похоже, у юной Зинаиды и другие, не столь тривиальные причины стремиться к этому браку. Он становился для нее дверью в храм литературы...

Но даже в свете тогдашних богемных браков союз Зинаиды и Дмитрия выглядел не вполне обычно. Еще до венчания (которое имело место в 1889 году в экзотическом знойном Тифлисе) эрудит-жених и юная зеленоглазая невеста договорились о странноватых (хотя и не то чтоб в том серебряном веке неслыханных) условиях совместного проживания, иные из которых оказались, впрочем, малосущественными и были скоро забыты. Скажем, юная

невеста пообещала вовсе не писать стихов, а заниматься исключительно прозой. Когда обнаружилось (и довольно скоро), что она может добиться успеха во всех без исключения жанрах – лихо сочиняет рассказы, романы, рецензии, эссе, – благоразумный молодой человек Дмитрий, погрузившийся с головой в первый цикл своих исторических романов («Христос и Антихрист»), предоставил молодой супруге полную свободу творчества. А она, хоть и держалась до времени в тени своего знаменитого мужа, обнаружила поразительную творческую плодовитость. Более того, ее влияние на тогдашнюю русскую поэзию и ее усилия на общественно-культурном поприще оказались незаурядными. Достаточно напомнить, что именно Зинаида Гиппиус выводила в свет и Блока, и Мандельштама, и Есенина. И притом она была не только «влиятельной литературной дамой» (как скуповато признала Надежда Мандельштам) или знаменитой хозяйкой петербургского литературно-философского салона, но и видным общественным деятелем. А уж сама-то она (и за полвека до оценки вдовы Мандельштама), конечно, знала себе цену. Тот же Маковский вспоминал:

Сама себе З.Н. нравилась безусловно и этого не скрывала. Ее давила мысль о своей исключительности, избранности, о праве не подчиняться навыкам простых смертных... И одевалась она не так, как было в обычае писательских кругов, и не так, как одевались «в свете» – очень по-своему, с явным намерением быть замеченной.

Легко догадаться, что и любовные ее стихи были не совсем обычны:

И я такая добрая,
Влюблюсь – так присосусь.
Как ласковая кобра я,
Лаская, обовьюсь.

Пародируя эти нашумевшие строки, известный тогда поэт-пародист Александр Измайлов делал весьма непустячные наблюдения над характером и жизнью поэтессы:

Я свершений не терплю,
Я люблю – возможности.
Всех иглой своей колю
Без предосторожности.

Кстати сказать, многопишущий муж Зинаиды предоставлял ей неограниченную свободу в сфере внесемейных занятий и развлечений, всех этих упомянутых пародистом «возможностей». Более того, среди условий их брачного договора было и одно, весьма характерное для той среды и того таинственно мерцающего века: супруги условились, что их возвышенное любовное общение будет осуществляться лишь в сфере духовной и будет очищено от всякой «телесной грязи». То есть всеми этими глупостями, которым предаются в своих общих постелях люди попроще, они просто не станут заниматься.

О причинах такого решения (далеко не уникального в ту уникальную эпоху) мы можем только гадать. О психической и сексуальной ориентации знаменитого романиста Дмитрия Мережковского нам известно совсем мало. Значительно больше (хотя далеко не все) знаем мы об исканиях и терзаниях его славной супруги, красавицы и «дьяволицы», ибо Зинаиду терзала неодолимая жажда записывать не только все свои мысли (а она была человек мыслящий), но и малейшие движения души. Так возникли ее интереснейшие (ничуть не менее, а то и более интересные, чем прочая ее проза) записные книжки в клеенчатых обложках – черная, коричневая, синяя... И должен обрадовать не слишком многочисленных читате-

лей Гиппиус: все эти записи были сбережены усилиями последнего ее секретаря Владимира Злобина, все они уцелели и даже не были, вопреки угрозам, стыдливо сожжены ею самой в минуты душевных кризисов.

Дневниковая «черная тетрадь», она же «Contes d'amour» (тетрадь любовных историй), – поразительный опыт самораскрытия, самокопания, рефлексии, попытка «отделить непонятную мерзость от хорошей части души», анализ «скрытых свойств» собственного Я. Молодая женщина беспощадна к себе, разоблачает свои властолюбие, самолюбие, бездушие, сладострастие, сообщает миру, что она дама циничная, извращенная, суевливая, ничтожная, «а главное, лживая, изолгалась, разыгрывая Мадонну, а сама Дьяволица». Цель этого бесконечного дневникового творчества, скорее всего, психотерапевтическая – «утоление боли в правде». Но удастся ли ей всю правду высказать до конца? Например, правду об андрогине? Зинаида первая отмечает двойственность своей натуры: «В мыслях и желаниях больше мужчины, в моем теле я женщина. Но они так свиты, что я ничего не знаю». Этим «не знаю» и кончился весь самоанализ, но он был упорным, долгим.

Зинаида искала оправдания этой двойственности в устройстве мира: «Реальный человек никогда не бывает только мужчиной или только женщиной. Оба начала, мужское и женское, в нем соприисутствуют».

Два слова об этом столь модном в серебряном веке, но идущем из мифологической глубины веков понятии андрогинности, особом взаимодействии мужского и женского начал. Еще Платон писал об этом в шестой части «Пира», в которой наряду с представителями двух полов появляются представители третьего – андрогини. Это племя двуполовых людей стало таким сильным, практически непобедимым, что боги встревожились, и Зевс всемогущий похлопотал о губительном разделении полов. Адам, по мнению многих авторов, был андрогином.

Эта проблема занимала сознание литераторов романтической эпохи, однако о ней писали и чуть ли не все современные философы. Из русских литераторов об андрогинности рассуждали и Розанов, и Белый, и Ходасевич, и Гумилев, и Блок, и Лосев, и Кузмин. И конечно же, Бердяев, писавший, что новый человек «восстановит свой андрогинический образ и, наподобие Бога, искаженное распадом не мужское и не женское, а человеческое начало». На Западе этой проблеме уделили большое внимание Мерло-Понти, Барт, Деррида и другие философы.

Что касается наблюдений над Мережковским и Зинаидой, то этих замет больше всего найдешь у членов их «тройственной семьи», у их секретарей-сожителей. Последний из них, Владимир Злобин так писал о супругах: «...она очень женственна, он мужествен, но в плане творческом, метафизические роли перевернуты. Оплодотворяет она, вынашивает, рождает он. Она – семя, он – почва, из всех черноземов плодороднейший».

К этим тонким соображениям можно было бы прибавить и наблюдения над друзьями, отчасти уже отмеченными выше привычками и пристрастиями зеленоглазой Зинаиды. Стихи и статьи она подписывала мужскими псевдонимами, да и вообще любила в них говорить от лица мужчины. Имела повышенный интерес и неизменную симпатию к гомосексуалистам.

Вот не первая, хотя и не последняя, мольба из сокровенной «черной тетради»:

О если б совсем потерять эту возможность сладострастной грязи, которая, знаю, таится во мне и которую я даже не понимаю, ибо я ведь и при сладострастии, при всей чувственности – *не хочу* определенной формы любви, той, смешной, про которую знаю...

Комментируя эту дневниковую запись, Сергей Маковский приводит вполне убедительную, на его взгляд разгадку:

Отсюда неукротимая ее девственность и влечение не только к женщинам, но и к мужчинам с двоящимся полом. Сказано ею и это без обиняков: «Мне нравится тут обман возможности – как бы намек на двуполость: он кажется и женщиной, и мужчиной. Это мне ужасно близко.

Двуполой прелести, смешению полов посвящены и многие рассказы и стихи Зинаиды Гиппиус:

Ждал я и жду я зари моей ясной,
Неутомимо тебя полюбила я...
Встань же, мой месяц серебряно-красный,
Выйди двурога, – Милый мой – Милая...

Творческое сотрудничество супругов Мережковских началось почти сразу после встречи и приезда в Петербург, в 1888 году. Дмитрий представил ее друзьям, литераторам и издателям. Одним из первых среди них был Николай Минский. О любовной истории Минского и горничной Мережковских Зинаида написала свой первый рассказ (который был вскоре напечатан). Потом она сама влюбила в себя Минского. Зинаида объясняла, что мужская влюбленность помогает ей легче любить себя саму. Однако этим единственным достижением и приходилось довольствоваться ее поклонникам. Вряд ли этого им было достаточно.

Вслед за Минским в ряду поклонников Зинаиды объявился другой пишущий интеллигент, большой знаток искусства Аким Волынский. Второй роман был продолжительнее первого и тоже завершился скандалом. Надо сказать, что Волынскому вообще не слишком везло в любви. Он считал себя воспитателем яркой звезды серебряного века – балерины Иды Рубинштейн (известной нам благодаря портрету кисти Валентина Серова). Юная Ида с готовностью выслушивала советы эстета Волынского, даже ездила с ним за границу, но на все предложения о большей близости или браке отвечала решительным отказом.

Оскорбленный отказом Иды «пойти рядом по жизни» Аким Волынский-Флексер оставил нам и литературный портрет этой звезды, которую позднее эмигрантская пресса называла «божественной Идой». Волынский писал о «жестокой красоте, царственном великолепии и роскоши» молодой балерины и богачки, о новом эротическом образе женщины-вамп:

Высокая, неправдоподобно тонкая фигура, бесстрастное лицо – все в образе этой хрупкой, похожей на натянутую струну женщины было необычно, влекло обещанием упоительных контрастов, пугало леденящей отрешенностью.

Обещание, которое разглядел в молодой ученице Фокина влюбленный в нее эстет Волынский, сбылось только наполовину. Сбылось оно в Париже на гастролях театра Дягилева, в роли Клеопатры. Там, где другой балерине приходилось тратить столько сил на сложнейшие пируэты, «божественной Иде» удалось, по словам Фокина, обойтись «минимальными средствами». Она встала с носилок, «приняла позу», и покоренный зал обрушил на нее рукоплескания. Увы, бедному Волынскому-Флексеру от этого парижского триумфа перепало совсем немного. Зато в долгом (но тоже вполне платоническом) петербургском романе с юной Зинаидой Гиппиус красноречивый Аким Волынский смог отвести душу, хотя дальше порога ее спальни допущен не был. Они много говорили о жизни, об искусстве, о морали, о судьбах России. В те первые годы совместной жизни Зинаиды и Дмитрия супруги еще не так глубоко погрузились в проблемы христианской религии: они скорее склонялись к культу Пана и гедонизму. Когда их здоровье потребовало жаркого солнца, они посетили Сицилию и гостили в Таормине на вилле, которая была в те годы гнездом высокоинтеллектуального

гомосексуализма. Зинаиде так понравился юный партнер хозяина виллы Анри Бриге, что она посвятила ему несколько стихотворений. Впрочем, даже и признаваясь, что ей (как позднее Цветаевой) нравились гомосексуалисты («с внешней стороны люблю иногда педерастов»), она почитала их «все-таки лишь карикатурой» на свой идеал («на того, кто мог бы мне нравиться»).

Уже в первые годы петербургской жизни (в конце восьмидесятых – начале девяностых) Зинаида становится весьма популярной столичной писательницей. Еще большей популярностью, чем стихи, рассказы и романы, пользовались ее критические статьи и рецензии, которые она подписывала самыми разнообразными мужскими именами. Самым известным из них было имя Антон Крайний.

Супруги сближаются в ту пору с дягилевским «Миром искусств», где они печатают серьезные статьи о религии. Эти статьи, слишком высоколобые и не вполне уместные в журнале искусства, охотно брал их верный единомышленник и поклонник Дмитрий Философов, кузен и возлюбленный Дягилева, отвечавший за журнальную прозу. Позднее, несмотря на сопротивление кузена, Философов на долгие годы сделался «секретарем» и членом семьи Мережковских. Он был, пожалуй, самой большой любовью Зинаиды, но, оказавшись однажды в ее постели, не смог, при всей их многолетней любви, преодолеть отвращения. Оставалось лишь духовное общение, творчество и совместная религиозно-просветительская деятельность, которой все трое отдавались с большим пылом. Рамки «гедонистического искусстволубия» журнала «Мир искусства» ограничивали творчество Мережковских. Рождается их собственный журнал «Новый путь», где Антон Крайний, обвиняя декадентов в эгоизме, зовет их на простор «соборной религиозной правды».

Мережковские и несколько их единомышленников хлопочут об учреждении Религиозно-философского общества. На квартире у Мережковских проходят религиозно-философские собрания. В Петербурге спорят теперь о путях православия, в дискуссиях участвуют представители православного духовенства и такие писатели, как Розанов и Белый, такие философы, как Франк и Карсавин или вполне левые в ту пору Бердяев и Булгаков. Сам Победоносцев (тот самый, который, по словам Блока, «над Россией простер совиные крыла», но в сравнении с севшими в руководящие кресла Бухариным, Суловым или Ждановым был просто беспечный демократ и либерал) разрешил все эти дерзостные дискуссии о религии и церкви. Таково было время, о котором историк серебряного века Маковский писал:

...в России со времени Петра православие как церковь действительно омертвело, целиком подчинившись «царству от мира сего», бюрократическому самодержавию. Совершенно естественно поэтому сгруппировалась вокруг Мережковского и его Эгерии, З. Гиппиус, та интеллигенция «начала века», которая с понятием Бога соединяла понятие свободы, жаждала веры, но не могла мириться с закрепощением церкви государством и во имя духовной правды хотела преобразить российское политическое бытие. Таким образом Мережковские уже в 1901 году сделались средоточием, вокруг них объединилась наиболее духовная интеллигенция – и создано движение, которому недоставало только выхода в широкую общественность.

Этот выход дали журнал «Новый путь», религиозно-философские собрания и общество того же названия. Сумело ли тогдашнее собрание интеллектуалов найти новый путь к Богу? Оглядываясь в прошлое, даже самые благосклонные историки не могут отыскать существенных находок. Тот же Маковский вспоминает:

Если церковь времен Победоносцева и была закоснелой, неспособной воспрянуть к новой жизни, то верно и то, что интеллигенция, несмотря на

ум и талант ее вождей, недостаточно созрела еще, чтобы предпринять что-то вроде реформы для углубления православия. Было слишком рано...

Зинаида Гиппиус много пишет в эту пору стихов и прозы о Боге, ищет путей к Богу. Божественному посвящены десятки ее стихотворений. Но и Дьявол всегда неподалеку со своими соблазнами, со своим «крестом чувственности»:

И сердце снова жаждет
Таинственных утех...
Зачем оно так страждет,
Зачем так любит грех?

О, мудрый Соблазнитель!
Злой Дух, ужели ты —
Непонятый Учитель
Великой красоты?

В 1899 году были напечатаны стихотворения Гиппиус, имевшие самый шумный успех — успех скандала. Одно из них («Песня») было проникнуто мечтой о чуде:

И это желанье не знаю откуда
Пришло, откуда,
Но сердце хочет и просит чуда,
Чуда!

О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает.

В другом, еще более знаменитом стихотворении той поры Зинаида заявляла, что «любит себя, как Бога». Воспоминание об этом скандальном заявлении петербургские читатели и слушатели сохранили на всю жизнь. Очень уже немолодая Тэффи рассказывала в Биаррице совсем старенькой Гиппиус, как они с сестренкой (будущей Миррой Лохвицкой) обмирали в детстве, слушая эти стихи. Старый Бунин вспомнил их в Париже у гроба Гиппиус и рассказал жене, как он услышал эти строки впервые полвека назад из уст самой Зинаиды на ее выступлении:

Она была вся в белом, с рукавами до полу и когда поднимала руки — было похоже на крылья. Это было, когда она читала: «Я люблю себя, как Бога!», и зал разделился — свистки и гром аплодисментов...

Стихи Гиппиус пользовались большой популярностью и были тепло приняты критикой. В 1904 году, после выхода ее «Собрания стихов» поэт и критик Иннокентий Анненский писал: «Я люблю эту книгу за ее певучую отвлеченность... в ее схемах всегда сквозит или тревога, или несказанность, или мучительные качания маятника в сердце». Критика спорила об этой «отвлеченности», рациональности и даже холодности стихов Гиппиус, но никто не отрицал ни тревоги, ни воли. Сергей Маковский так говорил о них в своем очерке:

Элемент воли в поэзии Гиппиус неотделим от эмоциональной встревоженности. Даже профетическая тревога звучит у нее непререкаемым приказом. Оттого ее стихи так жестки порой, словно выжжены царской

водкой на металлической поверхности: недаром называет она свой дух «стальным».

Вот оно, точное определение «стальной», а отнюдь не просто «железной женщины» серебряного века. Да и какой «железной женщиной» была, скажем, берберовская Мура Будберг, главная любовь сентиментального Горького, явившаяся к нему чуть не напрямую из подвала ГПУ, чтоб влиться в веселый хоровод его чекистских дам? Вот зеленоглазая Зинаида с ее непримиримостью и верностью свободе, с ее жестким стихом и седой косой девственности – вот эта уж точно была стальной!

Как и все русские интеллигенты, мятущаяся Зинаида ждала чудес. Неистово жаждала новой свободы и Второго пришествия. Вот как писал об этом ее секретарь, поэт Злобин:

Вот она – в своей петербургской гостиной или парижском «салоне»... Кто, глядя на эту нарумяненную даму, лениво закуривающую тонкую надушенную папиросу, на эту брезгливую декадентку, мог бы сказать, что она способна живой закопаться в землю, как закапывались в ожидании Второго пришествия раскольники... среди русских поэтов XX века по силе и глубине переживания вряд ли найдется ей равный. Напряженная страстность некоторых ее стихотворений поражает. Откуда этот огонь, эта нечеловеческая любовь и ненависть? Нет, Второго пришествия, какого ждали раскольники, она не ждала, но какого-то другого равного ему по силе события ждала. И дождалась: в России грянула революция...

Она ждала свободы, но ждала и беды – пророчила гибель ненавистному городу Петра:

Нет! Ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.